

К ЧИТАТЕЛЯМ

В 1984 году появилась моя первая книга «Страна Помория» – рассказы об истории Беломорья, об Унежме. Сейчас, дополняя предыдущие записи, опять «свидетельствую свое сыновство, свою любовь сказаньем и писаньем».

Мы, старшее поколение, пережили острые периоды в жизни нашей страны: индустриализацию, коллективизацию, Отечественную войну, послевоенный не менее тяжелый период. На моих глазах происходили перемены в жизни людей, рушились старые порядки, на смену им шел социализм, затем «развитой социализм», за ним «маячил» коммунизм. Но все эти посулы наших руководителей – сплошной обман. Ни социализма, ни тем более коммунизма не получилось. Все мы под руководством коммунистической партии и ее вождей – Сталина, Хрущева, Брежнева – оказались в бюрократическом, парторитарном, милитаристском обществе. После семидесяти лет советской власти страна оказалась на грани развала, в глубоком кризисе.

В 1985 году Горбачев провозгласил перестройку и демократизацию. Шесть лет его правления окончательно разрушили экономику. Развалился Союз, началась война между республиками и народами. Живем по талонам и карточкам. Великая наша родина Россия под руководством президента Ельцина пытается выйти из кризиса. Начались реформы. Что будет дальше? Поживем – увидим.

2

К читателю

В 1984 году появилась моя первая книга
«Страна Памир» — рассказы об истории Бело-
слово, об Узгенге.

Сейчас, доходящая будущие книги, опять сви-
детельствую о себе самом, о своей любви к сказкам
и писателям.

Мы, старшее поколение, пережили четыре
переломы в жизни нашей страны: индустриализацию,
коллективизацию, Отечественную войну, послево-
енный, но менее трагичный перелом. На моих глазах
происходили перемены в жизни людей, рождалась
старая культура на смену им шел социализм, затем
развилась социализм. ^{Великий} Социализм.

Но все это ^{наших ~~близких~~ близких} — это история. Ни соци-
ализма, ни тем более Социализма, не получились.
Все мы, под руководством Коммунистической пар-
тии и ее вождей: Сталина ^{Крестьяне} Хрущева, Брежнев
шли в буржуазный социализм, капитализм, а затем
туда, куда и сейчас.

После семидесяти лет Советской власти стра-
на оказалась на грани распада, в глубоком кризисе.

В 1985 году Горбачев произвел перестройку
и демократизацию. Шесть лет его правления окон-
чилось в разрушении Экологии. Возникла Со-
ветско-американская война между республиками и каро-
лами. Ивелико таежные и картожные.

Великая война Восток-Запад под руководством
президента Буш — начался война из кризиса.
Возникла реформа.

Что будет дальше? Понятия не имею.

Первая страница рукописи И.М. Ульянова
«О времени и о себе»

ЧАСТЬ 1

В родительском доме. Школа-четырёхлетка. Ванька-воин. У добрых старушек. Онега. Васса Николаевна. Мурманск. Евдокия Степановна. Школа ФЗУ. Николай Григорьевич. Первое назначение. Саша Денисов. «Я вам пишу». Дуся и «Катюша». Винницы и Львов. С белым билетом домой. На самой высокой мачте.

Наши приехали, наши приехали! Мам, приехали, приехали наши! – бежим и кричим я и брат Митя.

– Не кричите, лучше расскажите где пристали, надо ли чего помочь, – спокойно говорит мать.

– Разгружаются у Великой вараки, а потом будут груз возить. Велели баню топить, – наперебой кричим оба, еще не отдышавшись от бега.

Мама бежит в баню, мы за ней. Носим воду в котел, дрова в печку.

Вскоре появляется отец с «ребятами», то есть с сыновьями Федором, Алексеем, Николаем, Михаилом, и загруженной телегой. Зорька, отъевшаяся, похорошевшая за лето, упираясь и отфыркиваясь везет полный воз мешков, кулей, ящиков. Потом еще и еще. Последние поездки – бочки с мурманской треской, зубаткой, палтусом. Все привезенное складывается на сарае, а бочки с рыбой в подклет, что под домом.

После бани – привальный чай. За столом вся семья. На столе рыбники, шаньги, а главное конфеты в бумажках и сахар. За чаем отец рассказывает:

– Промысел в Шельпино в этом году был хороший. Заработали неплохо. Купили кое-какую одежду и обувь. Денег про запас осталось. Ребята подросли, можем своей артелью ловить. Надо строить бот, на нем безопасней в море выходить.

– Поля, тереба да пожни все обкосила, сено поставила в зароды. Лето было теплое, трава хорошая. Картошка уродилась, да до весны не хватит, – поведала мать.

Ложимся спать. Родители в чайной, на единственной в нашем доме кровати, а мы, вся ребятня, в передней комнате на полу на лосиных и оленьих шкурах. Теперь вся наша семья, и немалая, в сборе.

Дом у нас небольшой, в три окна по фасаду, с кухней, чайной и передней. Сзади сарай, под ним скотный двор с хлевами для лошади, коров, овец. За двором на задах баня и амбар. Дом построен отцом в 1906 году после женитьбы. Нас десять человек: отец, мать, пять парней от первого брака и трое от второго: я, Фиса и Свира.

Отцу нашему, Матвеем Максимовичу, в том 1925 году исполнилось сорок шесть лет. Он среднего роста, крепкого телосложения, с небольшой бородкой и усами, нос прямой с горбинкой, выправка солдатская. Отец служил в царской армии, был на японской войне ранен в ягодицу, отчего сельчане за глаза называли его «Матюня стреляна жопа». Окончив два класса церковно-приходской школы, умел читать, писать, хорошо считал и по тем временам был достаточно грамотен.

У отца было два брата: Иван и Александр. Дядя Иван Максимович – старший из братьев. Он жил с дедом Максимом. У них с деинкой Таней было двое детей: Григорий и Валентина. Деда Максима и бабушку по отцу я не помню. В то время, в 1925 году, дядя Иван не ходил на Мурман, жил летом и зимой в Унежме, ловил рыбу в реке и море. Деревенские его называли «камунистом». Он был грамотен, читал книги, выписывал газету.

После смерти дяди Ивана в доме остался его сын Григорий. Жена его Антонина – родная сестра моей матери. У них было две дочки: Аня и Лида. Дядя Григорий из деревни уехал рано. Его преследовали власти якобы за участие в помощи интервентам-англичанам. Поселились они в Онеге, а дом в Унежме продали Ульянову Савелию. Дом деда Максима стоял посреди деревни, напротив двухэтажного дома Ульянова Григория – судовладельца, имевшего в нижнем этаже лавку (магазин).

Дядя Александр – младший из братьев, невысокого роста, полный. На промысел в то время уже не ходил. Жена его, Федосья Назарьевна – умная, добрая женщина. У них было десять детей, а выжила только одна, Анастасия. Дом дяди – рядом с нашим, крыльцо в крыльцо, еще ближе к полям. В доме была кухня и комната,

сзади хлевы, сарай. Оба, дядя и деинка, работали в колхозе. Дядя дома шил корзины, вязал сети, ремонтировал рюжи. Деинка работала в полеводческой бригаде.

Мама, Мария Максимовна, еще совсем молодая, ей в августе 1925 года исполнилось тридцать лет. Среднего роста, волосы русые, добрая, спокойная, охотно вступала в разговор и располагала к нему. Все ее детство и молодость прошли в чужих людях: сначала нянчила детей, потом ходила по казачихам. В школе, как она говорила, «ни дня не была». Когда началась культурная революция я учился в начальной школе и взялся обучать свою маму грамоте. Сначала писали буквы, потом слова, как в школе учили детей в то время. Грамота ей не давалась, а может быть я был плохой учитель. Но как бы ни трудно, мы одолели буквы ее инициалов, а потом стали писать имя и фамилию. Писала мама медленно, забывала буквы. Чтобы побыстрее расписываться, ставила «У» и «М».

Отец ее, Максим Егорович, и мать Евдокия Корниловна жили прилично: имели дом, две коровы, лошадь, овец. Кроме матери и Антонины, в семье было четыре сына: Михаил, Дмитрий, Иван и Алексей. Михаил, Дмитрий и Иван женились в деревне, а Алексей холостяком уехал в Мурманск. В Мурманск же уехали Михаил и Дмитрий с семьями.

Иван остался в Унежме, работал в колхозе, плавал на мотоботе «Герой». Из рейса его привезли, вернее принесли, на руках, больного, вместо того чтобы в Онеге положить в больницу. Дома, перенося нестерпимые боли в животе, он медленно умирал. Умер дядя Иван ночью. Деинка Ираида осталась вдовой с сыном Николаем. Бабушка Евдокия до смерти жила у дяди Дмитрия в Мурманске. Дядя Митя после тяжелого ранения на фронте был комиссован инвалидом и с семьей жил в Унежме у деинки Ираиды. В Унежме он умер, не дождавшись Победы.

Дом дяди Ивана стоял около церкви. Чуть повыше, на горке – двухэтажный дом священника. В нижнем этаже его раньше размещалась церковно-приходская школа, в верхнем жил священник с семьей. Неподалеку на этой же горке – дом псаломщика. Чуть поодаль, к Великой вараке, дома крестьян Базанова Филиппа, Евтюкова Ивана, Евтюкова Леонтия, Куколева Ивана и еще многих Куколевых и Евтюковых, населявших этот район. Между церковью и домом псаломщика, почти на щелье, стояла колокольня.

Вот тут у Великой варакы на горке начиналась Унежма. Издавна это возвышенное место обжили наши предки. Старожилы рассказывали, что первыми поселенцами на наволоке Бранница были беглые новгородские крестьяне и солдаты, искавшие землю и волю. Место для жилья они выбрали хорошее – защищенное от холодных северных ветров, сухое, веселое. Тут же на месте жилья поставили крест. Неподалеку, еще ближе к вараке, выкопали колодец для питьевой воды. Вода в колодце всегда была чистая, как слеза. Колодец освящен и получил название «Крестовой».

Ученые считают, что селение Унежма появилось во второй половине XVI века. Основанием для этого принято считать первое письменное сообщение об Унежме, то есть жалованную грамоту царя Федора Ивановича Соловецкому монастырю, подарившему в 1590 году волостку Унежму¹. Однако в описании жизни первых монахов Соловецкого монастыря указывается, что в XV веке на побережье Белого моря уже существовали русские селения, в том числе Унежма².

Внизу, под горкой, за церковью, участок деревни назывался Подгорьем, вдоль Поморского тракта – Передний ряд, за ним, к лесу и болоту – Зады. Ряд, расположенный около моря – Морской ряд, группа домов у Средней варакы – Заполье.

Немного о Заполье и его обитателях. За домом дяди Александра Максимовича – дом Анны Евсеевны Евтюковой, матери трех парней. Ефим и Петр жили с матерью в отцовском доме, а младшего Ивана воспитывал дед. Отец их погиб на фронте империалистической войны. Еще дальше к полям по порядку – большой дом судовладельца Варзугина Григория. С другой стороны по тракту за нами жили Куколевы, затем дом Андрея Фролова, Дмитрия Семихина, Степана Тюрдеева, Базанова Михаила. Напротив фасада жил Куколев Афанасий с семьей, направо от него Егоров Прокопий, с другой стороны Ульянов Никандр.

¹ Первое известное мне упоминание об Унежме встречается в судебном акте от 10 сентября 1555 г., опубликованном в сборнике «Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографического комиссиону», т. 1, СПб, 1846 г. Акт № 58, стр. 121).

² К сожалению, Иван Матвеевич не приводит ссылку на источник. (Здесь и дальше примечания составителя).

На противоположной стороне Поморского тракта, от Смоленихи к центру, стояли дома Фролова Николая, Егорова Прокопия, Семихина Павла, Куколева Леонтия. Весь этот район по обе стороны тракта от крайних домов Средней вараки и Смоленихи до почтовой станции назывался Запольем. Это наиболее молодой участок заселения. Здесь селились, в основном, в конце XIX – начале XX века.

Все наши соседи, многосемейные крестьяне-рыбаки, занимались отхожим промыслом – ловом рыбы на Мурмане, составляя артель из своей семьи или добавляя в нее родственников. Тут были кормщики, гребцы, тяглецы, наживляльщики, зуйки.

Была уже поздняя осень и отец однажды говорит:

– Ну ребята, отдохнули, пора нам идти на реку за кокорами. Мать напекла нам хлеба, рыбников. Надо наточить топоры, приготовить лопаты, ломы. Работа будет трудная.

Когда они ушли, я спросил у Миши:

– Какие кокоры пошли копать, для чего они?

– Это кривые деревья из земли, ну корни деревьев, понимаешь? А нужны они для постройки бота.

Зимой после крепких морозов Федор и Алексей ездили за кокорами. Привезли, сложили на сарае, чтобы они высохли к будущему году.

Зимой, как и летом, без дела не сидели. Почти каждый день ездили за сеном или мхом для скота, рубили и возили дрова, пилили, кололи и складывали в костры на просушку. Дров надо было много, так чтобы хватило до будущего года. Зимой и по весне возили навоз на поля.

Вот и до полей дошли. У нас пахотной земли было три поля: на Средней вараке, на северо-западном склоне, на щелье; на Смоленихе, на южной окраине; и у Великой вараки за домом деда Максима Егоровича. На этих крохотных участках выращивали картошку, изредка ячмень. Поля действительно были крохотные: пять-шесть метров в ширину и метров пятьдесят в длину. Да и откуда ей взяться, земле-то, если с трех сторон море, а с юга деревни болото. На всю Унежму приходилось пригодной мало-мальски земли тридцать гектаров на сто двадцать дворов! И земля-то какая! Песчаники, суглинки, болотина переувлажненная. Урожаи получали очень низкие.

Утром мать вставала рано и начинала топить печку. Готовила пойло для коров, лошади, овец. Ставила картошку на шаньги. Всё это я знаю потому что вставал тоже рано от малейшего стука. Чистил картошку, мыл кринки, в общем, помогал ей во всем. Потом она начинала разносить пойло по хлевам и уж после этого катать хлеб, загибать рыбники, делать шаньги.

Отец тоже вставал рано. Его первая забота – Зорька. Кормил и поил ее всегда сам, и особенно теперь – ведь кобыла должна была весной подарить жеребенка. После этого он усаживался на кухне около окна и начинал подшивать многочисленные валенки. Ближе к весне шил новые и починял старые бахилы. Как и в каждом хозяйстве, были плотницкие, столярные и бондарные работы. Все это отец делал сам, не прибегая ни к чьей помощи.

Большинство унежмов зиму переживали нелегко. Особенно трудно было многосемейным, инвалидам и семьям, потерявшим кормильцев. К весне кончались запасы муки, крупы, картошки, рыбы.

Начиналась весна и Унежма оживала. Рано утром воздух наполнялся говором и шумом. Это женщины и дети с мережами шли ловить навагу. Потом ее везли в Онегу на продажу, а на вырученные деньги покупали ситец и хлеб.

Перед Благовещеньем на Мурман уходили «вешняки», начинали готовиться к промыслу «летняки». Готовили «посуду»: шняки, карбаса, лодки. Конопатили, красили, смолили. Шили из брезента паруса, чинили старые. Женщины вязали свитера, рукавицы, носки, запасали хлеб. Как только море освобождалось ото льда, вся шнячно-карбасно-лодочная флотилия унежемских промышленников отправлялась в море, на Мурман, на любимые места промысла. А мы, мелкотня-ребятня, оставались в деревне с матерью.

Кроме ухода за скотом да домашней работы начинались весенние полевые работы. Лошадей отпускали в стадо на все лето, коров и овец ежедневно выгоняли на пастбище. До начала сенокоса ремонтировали изгороди, пахали поля, сеяли картошку и жито. Все это делала сама мать, а мы ей помогали. Весной жить было голодно, прошлогодние заготовки кончались, а новых еще не было. Кое-как перебивались – собирали и ели кислицу, прошву, дудки.

В июне мать ходила торбать камбал, а отец обычно присылал с Мурмана бочку или две рыбы, и жить становилось веселей.

Потом начинался сенокос и мать была полностью занята им: утром уходила, когда мы еще спали, а приходила поздно вечером. Мы ее встречали на канаве³ в Нюхотском конце. Она приносила рохлячи⁴ – морошку, грибы, дудки. Вечером наказывала:

– Наносите дров к печке, воды полную бочку налейте. Вычистите двор, подметите и проветрите. В субботу надо почистить самовары и тазы, рукомойку, вымыть полы.

И мы всё делали, за исключением дойки коровы. Корову и овец поили и загоняли во двор. Мать приходила с сенокоса, доила корову и усталая ложилась спать. Сенокос ее изматывал. Терeba и пожни далеко, надо идти пять-шесть километров, потом косить целый день или убирать траву, а после этого опять идти домой. И так всё лето. А дома оставались одни малыши: Митя, я, Фиса, Свира. Вставали, а на столе уже стоял паек на весь день: молоко, хлеб, рыба. Старшим, а ему было восемь лет, был Митя. Он нянчился с маленькой Свирой, а мы выполняли все его команды. Нянчить, между прочим, пришлось всем: Миша нянчился со мной и Фисой, я нянчился с Ульяной, Свира – с Сашей, Ульяна – с Толей.

Иногда нас зывали соседские ребята поиграть и забывались всякие наказанные работы. Митя с парнями постарше гонял попа или играл в мяч, а мы сидели на канаве или прыгали в классики. В хорошую погоду с утра шли купаться. Купались до посинения, кто больше раз искупается считался победителем. После купания шли на горушку греться и загорать, там же играли в карты. Играли до вечера, всё перезабыв. Потом, спохватившись, бежали чистить двор, носить дрова и воду. Воду носить было трудно: ведра большие, тяжелые, одно ведро волокли вдвоем, и то еле-еле. Вода разливалась, выплескивалась на брюки и мимо. Обвиняли друг друга в неумении держать ведро, иногда доходило до ругани и даже драки.

Осенью пришли мужики с промысла и опять наш дом наполнился шумом, стало тесно. Через некоторое время из сарая были вытащены кокоры и отец с Федором стали их обтесывать топорами,

³ «На канаве» – на тракте. По обе стороны почтового тракта были вырыты глубокие дренажные каналы, которые сохранились до сих пор. По ним можно определить, где тракт проходил по деревне.

⁴ Недозрелые – «рохлые» – ягоды или плоды.

а потом ставить на приготовленный помост. К килевым длинным кокорам прикрепляли маленькие – шпангоуты. Появился как бы скелет суденышка. Потом напилили досок и стали приколачивать к килю и шпангоутам. Работа по строительству ботика продолжалась всю зиму. К весне он был полностью готов: покрашен, просмолен, оборудован такелажем. В том году семь унежемских семей сделали такие же посудины. В прошлом средний крестьянин не мог и мечтать об этом, строили только богатые. Но это были годы НЭПа, на постройку судов государство давало кредиты и ссуды.

Осенью 1927 года наша семья увеличилась: женился Федор Матвеевич. В нашем доме появилась молодуха – Евдокия. Она была моложе матери на десять лет. Отец ее, Степан Григорьевич Варзугин, имел суденышко, называлось оно «Гагарка». В его семье, кроме Евдокии, было две дочери: Антонина и Ульяна. Евдокию он очень любил и называл Дунюшкой. С матерью и отцом невестка вела себя уважительно, как было принято в то время в купеческих семьях: спрашивала что делать, куда идти. «Маменька» и «папенька» – так непривычно для нас она называла отца и мать.

Молодоженам выгородили в передней комнату, соорудив деревянную переборку. Мать не обременяла невестку работой, старалась делать всё сама. В их комнату ходить не велели. Но мы выбирали время, когда не было дома Федора и Авдотьи (так мы ее называли), и втихомолку забирались в их уголок. Там всё было интересно: на полочках бутылочки, флакончики, коробочки, морские звезды, рыба скат и много других диковинок. А кровать такая пышная, высокая, и на ней гора белых подушек. О наших походах, конечно, узнавали, а иногда заставляли на месте преступления, ругали, давали шлепки и подзатыльники.

После женитьбы отец спросил Федора:

– Где будете жить, вместе с нами или отделяться?

– Отделяться не будем! – таков был ответ.

Итак, отец и Федор решили жить в одном доме, но дом был слишком мал и они договорились строить новый и большой. Разговор о строительстве нового дома возникал и раньше, но мать всегда была против. Ведь дом, в котором жили, был крепким: стены, потолки, полы нигде не имели гнили, дом стоял прямо, не просел, в нем жить было уютно, тепло. Она ругала отца, что он опять затевает для себя, раненого, недавно осилившего бот, непосильную работу,

втягивает в это суматошное дело всю семью. Иногда она даже плакала и говорила:

– Лучше постройте Федору с Авдотьей маленький дом, чем заводить такой большой. Ведь и того дома будет мало на тринадцать человек!

Все парни привыкли к отцу и тянулись к нему. Привычка это вырабатывалась на промысле. Как ни говори, а объединяла их общая беда – ранняя смерть Анны Семеновны, матери и жены. Помню после свадьбы Федора, когда разъехались гости, отец, порядком выпивший, запел:

Ах вы дети мои, детушки,
Сыновья мои родимые,
Сыновья мои родимые,
Вы родимые, любимые...

Пел он тихо, даже жалобно, и песня такая задушевная, сердечная затихала постепенно, а голова падала на стол. Затихли все в доме, а мать вела его из-за стола полусонного на кровать.

Зимой, когда день немного прибавился и стало светлей, ранними утрами отец со старшими сыновьями уезжал на реку рубить деревья. Приезжали домой вечером усталые, голодные. Ездили всегда на Зорьке. Зорька была не одна, у ней был сынок – жеребенок, красавец на длинных ножках с коротенькой гривкой и маленьким хвостиком, рыжей масти. Рыжик – так звали жеребенка. Он ни на шаг не отставал от матери, был с ней в одной стойке – хлеве.

Митя уже ходил в школу и только вечером выходил на улицу играть. По тонкому льду катались с ним на коньках. Коньки он делал сам. Выстрагивал из полена деревянную колодку по величине валенка, к колодке прикреплял проволоку – и конек готов. Такой самодельный конек привязывали веревками к валенку и катались на одной ноге, отталкиваясь второй. Ходили на самодельных лыжах, вытесанных из березы. Катались с вараком и горушек на гунках (санках), бросали поползухи и бегали за ними. Поползуха – это палка с заостренным и утолщенным передним концом и более тонким задним. Размахиваясь, ее бросали по снегу и она катилась, оставляя след – углубление. Соревновались, чья поползуха дальше убежит. Когда не было Мити, я играл с Санькой Егоровым. В одной из игр с

поползухами он накололся на ее тонкий задний конец и долго не выходил на улицу. Позже моим дружкой был Игнашка – сын соседей Никандра Абрамовича и Степаниды Андреевны. Иногда нас собиралось до десятка и тогда играли на вараке в войну. В эту игру забавлялись и летом. Делились на белых и красных. Красные обычно наступали и побеждали. Ружьями были палки.

Осенью около нашего дома застучали топоры, завизжали пилы. Сначала отпилили переднюю и чайную и разобрали. Осталась для жилья только кухня. Жили и спали в основном у дяди Александра, кормиться ходили домой. В кухне оставались жить отец с матерью и маленькой Ульяной, да иногда я засыпал на печке рано вечером.

Разговор о доме возникал часто. Мать говорила о нем, как о живом существе. Иногда она по настоящему ругалась и доходила до плача. Мне тоже казалось, что мы его незаслуженно обижаем. Но возврата к старому уже не было. Новый дом возникал как в сказке. Не знаю, был ли какой план или чертеж, я не видел, но дом строился. Кто пилил доски, другие тесали бревна, рубили углы. Работали с утра до вечера. Помогали дяди Дмитрий, Михаил, Иван, работали все старшие парни. Малышей предупредили, чтобы на стройке не вертелись, как бы не зашибить. Рядом около дома стояли большие высокие козлы, туда наверх закатывали бревна и пилили продольной пилой. Один пильщик стоял наверху, второй – внизу. От этой пилы получались доски на полы, потолки, крышу. Когда поставили первые венцы на плоские камни, то получилось, что наш будущий дом будет загораживать сзади стоящие, выходить из ряда, потому что новый пристраивался к старой кухне, да в новом будет кухня. Об этом стали говорить соседи, отца вызвали в сельсовет. Но сделать что-нибудь другое было невозможно, как же жить без кухни?

Дом рос не по дням а по часам. К концу года был готов сруб, поставлены полы в кухне и чайной, потолки и крыша. Оставалось сделать печи. Зимой обычно этим не занимаются – холодно. Но отец решил делать, договорился с печником Николаем Фроловым, чтобы тот сделал печи на кухне и в чайной. В кухне постоянно была горячая вода и теплая глина, чтобы у печника и подсобных не мерзли руки. Выкладывать трубы на чердаке и крыше было куда трудней, чем печи в закрытых комнатах. Тут на глазах стыли вода и глина, мерзли руки. Вскоре русскую печку начали топить, мыть по-

лы. Топили несколько дней понемногу, чтобы не появились трещины. Потом, когда она достаточно нагрелась и просохла, стали постепенно переходить.

В новом доме было не так, как в старом – прохладно и непривычно. Кухня в несколько раз больше: с тремя окнами, да еще за печкой комнатуха – спальня с двумя окнами, чайная тоже большая. Там Федор с Авдотьей поставили кровать и качалку для ребенка. В этой комнате по два окна с обеих сторон. Тут тоже было прохладно и маленькая девочка Аня заболела – видимо простыла. Ее перенесли на кухню, но она все равно кашляла, ничего не ела, постоянно плакала, а потом умерла.

В доме было прохладно. Ходили в валенках, на плечи что-нибудь одевали. Часто сидели на печи и грелись, туда же забиралась мать после окончания утренних дел. Печка спасала. На печке можно было стоять и в растяжку спать. Она была длинная и широкая. Но дров на нее нужно было много чтобы протопить, испечь и сварить. На ночь ложились на полу на шкурах, под утро и на шкурах было холодно. Холодом дуло от стен и с пола, ведь лес был сырой, а полы одинарные, без черных. Чтобы было теплей в спальне, в следующем году отец сам сложил печку-галанку⁵. Ее обычно топили под вечер, чтобы ночью было тепло спать.

В том 1929 году я пошел в школу. Мне уже было полных восемь лет, а в октябре стало девять. Был я щупленький и маленький. Под книги и тетради мать сшила сумку из мешковины. Пошел в школу в красной рубашке и брюках, привезенных с Мурмана и подаренных Михаилом. А на ноги нечего было одевать. В нашем классе один только мальчик Ваня Куколев ходил в ботинках. Все завидовали ему, просили померить и поносить, но он никому не давал.

Школа стояла на Морском ряду – первый дом от Ивановой горюшки. Она была одноэтажная, размещалась в доме судовладельца, покинувшего родину⁶. Окна дома были широкие и высокие, по-

⁵ Галанка – местное производное от «голландка». Встречается также написание «голанка».

⁶ Имеется в виду судовладелец и капитан Иван Никифорович Ульянов. Он уехал в Мурманск в 1920-х годах, был капитаном мотобота «Мурманец», принимал участие в спасении папанинцев.

толки тоже высокие. Спереди была большая комната, за ней комната поменьше, сзади кухня, за ней еще комнатка. Дом имел два входа-выхода: со стороны кухни и со стороны коридора, который тянулся от большой комнаты до кухни. В большой комнате сидели ученики первого и третьего класса, в малой – второго и четвертого. В одном классе со мной учились Куколев Василий, Акилов Петр, упомянутый Куколев Иван, Егорова Феоктиста, Варзугина Анна, Семихин Константин. Учила все четыре класса Зинаида Михайловна Гурьева. Жила в школе в маленькой комнатке одна. В классы она ходила попеременно. Давала задания решать и писать самостоятельно. Когда уходила из нашего класса, начинался шум, возня, беготня, иногда потасовки и драки. То же самое случалось и в малой комнате, когда она была у нас. О начале перемены сообщал звонок уборщицы.

Учился я, не хвлясь, прилично – был в первых. Но лучшим учеником у нас был Ваня Куколев, его называли «учителем». Он был моим другом и, пожалуй, на голову выше нас в некоторых школьных учениях, начитан. Уже тогда он прочитал всю школьную библиотеку и прихватывал книги у учительницы. Как хороший ученик он был послан в Онегу на конференцию во втором классе, а я ездил, будучи в четвертом. В 1932 году я закончил унежемскую четырехлетку. Со своим другом договорились дальше учиться, чтобы закончить семилетку.

Весной несколько раз мать брала меня торбовать рыбу. Все делала она, я только смотрел и помогал носить корзину и кол. Сначала она копала червей, а потом пошла в море, оставив меня на куйвате и показав, как и откуда начинать копать. Я копал, а у меня ничего не получалось, черви уходили или я их резал. Только к концу лета постиг эту трудную работу. Накопив червей, заходишь в воду по пояс и распускаешь продольник. Потом наживляешь крючки червями. Наживляя, идешь от одного конца продольника к другому. Не успеешь дойти, а сзади на крючках камбалы дергают леску, стараясь освободиться. Они жадно набрасываются и заглатывают наживку вместе с крючками. Идешь вдоль продольника и почти на каждой крючке плоская рыбка вьется, стараясь освободиться и уйти в море. Но крючки держат крепко и вот рыба в твоих руках. В самый большой отлив вода холодная, а когда пойдет в берег, становится теплей. Это нагретая солнцем куйвата согревает ее.

Справа и слева мои друзья тоже торбают. С радостью кричу им:

– Ловится ли рыба?

– Есть немного на пол-ухи, – отвечает Саша Ульянов.

– Камбалушка-камбала попалушка попала, – кричит радостно Клава, сестра Саши.

– У меня пол корзины, буду перетягиваться в берег, – говорю я им.

– И мы тоже, – отвечает Саша.

Раз или два перетянешься, и рыбы полная корзина. Из моря сырой по пояс выбираешься на куйвату, и домой.

Весной лучше ловить под Сосновкой и в Челице. Там камбала крупная и толстая. Но в Челицу ходить нам нельзя, далеко, да еще во время прилива надо переходить реку. А в Сосновку никаких сложностей. Хотя тут тоже есть две леменцы, но они маленькие и в море не заметны. Идешь из Сосновки, а вода тоже идет, спешит на берег, подгоняет тебя. Чем скорее идешь, тем короче путь. Если вода в море не дошла до Верстовой – путь прямой, а когда она обойдет Верстовую, надо идти по дуге, образующей губу Смолениха. Доберешься до Варничной вараки, отдохнешь на теплой щелье, и по тропинке мимо Мироныщины по-над Средней варакой домой. Чистишь камбалы, моешь, варишь уху и кормишь сестер. Всю весну и часть лета бродишь в море. Со мной – соседские парни и девчонки: Ульяновы Клава и Саша, Евтюкова Тоня, Куколев Николай, Евтюков Толя, Семихин Костя.

Быстро проходит рыбачий период и начинается ягодная пора, в основном морошковая. За ягодами идти договариваемся с вечера. Решаем сообща куда пойдем, кто пойдет, во сколько, где собираемся. Утром с коробками встречаемся на канаве, то есть на тракте. По канаве идем к Смоленихе, выходим на Муры и держим путь на Большую Леменцу. Иногда, если вода в море, идем по куйвате. По отливу короче дорога, она прямая. Сколько наберем ягод, удачен ли будет поход, решаем узнать в начале пути. Вверх летят коробки, корзинки.

– Смотрите, смотрите, у меня будет полная корзина, – кричит Тоня.

– А у меня пол коробки, – уныло говорит Клава, потому, что ее коробка лежит на боку.

Бросаем коробки, корзинки и раз и два, и три, а результаты все разные. Переходим маленькие речки – Малую и Большую Леменцы. Вот и болото. Издали видны ярко-красные и желтые ягоды морошки. Чем дальше в болото, тем ее больше.

– Я нашел целую полянку!

– А у меня на кочках как насыпано ягод!

– Ребята, ребята, смотрите, там впереди за индалой⁷ красным-красно! – кричим наперебой, радуемся. Все довольны, собираем, заодно и балуемся. Вот уже полная посуда, наелись досыта сами, собираемся домой. Идем по куйвате прямо на Верстовую – островок, обсыхающий во время отлива, не обойти. Тут на теплой щелье всегда отдыхаем, потом – Варничная варака. Босыми ногами легко шагать по ребристому песку отлива. Песок теплый, попадают лужицы с теплой водой.

Подросли сестренки Фиса и Свира и мне, как старшему, стали помогать. Фису я уже брал на торбанье, учил как копать червей, ходить по продольнику, то есть ловить камбал. Она очень была маленькая и ее прозвали Коротышкой. Так и осталась коротышкой – не выросла и к старости. Если мне в воде было до пояса, то ей – до подмышек. Я старался не заходить глубоко. И все равно когда подходила волна она становилась на носочки, подскакивала, потому что вода холодная. Было ее жалко – сестра, да еще девочка. Я ее посылал на куйвату или домой, а потом сам выходил из воды.

С Ваней Куколевым летом встречались несколько раз. Он жил с дедом Федором Акимовичем, пастухом лошадиного стада, то за рекой, то в Челице, иногда в Сосновке. В те короткие дни, которые жил в деревне, он успевал организовывать свою любимую игру в войну, в основном на Великой вараке. Места там много, места удобные: кусты, деревья, камни, камешки, в которых хорошо прятаться. Командиром всегда был Ваня. Он искусно организовывал своих «красных», они всегда одерживали победу – внезапно нападали, брали в плен или «убивали».

У него был прирожденный талант организатора. Он умел настроить мальчишню почти на настоящее сражение. Все у него делалось всерьез, как на самом деле. Своими знаниями ведения войны он увлек нас, ему верили, подчинялись. За все это его про-

⁷ Индала – маленькое озерцо, топкое место на болоте.

звали «Ванька-воин». У него была большая тяга к учебе. Он каждый раз при встречах с радостью говорил, что скоро поедем учиться в пятый класс. Услышав это, я вздрагивал – боялся приближающейся поездки. Меня тревожило будущее, отрыв от семьи и предстоящая неизвестность. Я понимал, что окажусь один, никто мне не поможет, а главное не будет необходимой поддержки, то есть денег. Ведь Ванин отец был молодой, работал капитаном, хорошо зарабатывал, а мой отец был простым рыбаком и ничего кроме палочек⁸ не получал за работу. У нас не всегда были деньги на покупку хлеба, сахара и чая.

Мать видела мою растерянность, унылый вид и однажды спросила:

– Ваня, собирать ли тебя на учебу?

– Поеду! – ответил я одним словом, а сам чуть не заревел и убежал на улицу.

После этого дни побежали. Родители договорились и назначили день отъезда, выпросили у председателя колхоза лошадь, собрали что могли. Отец сделал мне новые бахилы, мать нашла кусок серой материи, отнесла его Ульяновой Анне, и та сшила мне брюки и пиджачок. Перед самым отъездом к нам примкнул наш однокашник Семихин Костя.

В конце августа едем в Нименьгу на лошадке, впряженной в тарантас. Для моего существования на телегу было положено полмешка картошки, корзина с шаньгами и рыбниками, валенки, шапка, пара белья. У Вани и Кости тоже пожитков было немного. Сопровождала нас до Нименьги мать Ивана Куколева. До Смоленихи ехали по тракту, потом выехали на куйвату и взяли прямой курс на Сосновку. Из Сосновки еще раз посмотрел я на Унежму. Белели церковь и колокольня, виднелись небольшие бугорки варак, кучки домов.

– До свидания, Унежма, до свидания, родная деревенька, до свидания, родина, – тихо проговорил я.

– Что ты шепчешь и вроде про Унежму? – спросил меня тезка, идущий рядом со мной.

– Да ничего не говорю, так просто.

⁸ Трудодни, которые ставили в ведомости за работу в колхозе в 30-е годы. Подробнее см. дальше.

И тут мне показалось, что я шагаю в неизвестность, кончились годы моей жизни в родительском доме. Что будет дальше? Кем я буду? Многие парни и девушки работают в рыболовецких бригадах, другие на лесозаготовках. А что я буду делать в новой жизни?

Начиналась новая жизнь при Сталине. В 1929–1930-х годах по всему Северу прокатилась волна коллективизации, а до этого – индустриализации. Но какая может быть индустриализация в глухой северной деревне, где нет ни заводов, ни фабрик? Как сейчас помню: отец пришел со схода, показал бумажку и сказал: «Это бумажка – облигация займа индустриализации. Я заплатил за нее пять рублей. Председатель сельсовета заставил всех купить по облигации». Лежала в сундуке эта облигация не один десяток лет наравне с деньгами и ни разу не проверялась и не выигрывала, хотя отец говорил, что она обязательно выиграет большую сумму денег.

Вскоре началась коллективизация. Проводилась она поголовно. Было два выбора: или колхоз, или раскулачивание. Судовладельцев и лавочников сельсовет обложил налогами, за ними последовали более обременительные поборы, от которых они не могли отказаться. Последовала опись имущества, распродажа его на торгах, высылка в места не столь отдаленные – лагеря.

Летом 1929 года кулакам было запрещено вступать в кооперативы и колхозы, а 30 января 1930 года вышло в свет постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». После этого начались антисоветские, антиколхозные выступления: поджоги, убийства, неподчинения властям, то есть саботаж коллективизации.

Тогда же началось великое переселение народов. Наибольшее количество спецпереселенцев было отправлено в отдаленные районы Союза. Одними из крупных центров переселения были Вологодская, Архангельская области и Кольский полуостров. Из 3000 семей, высланных в октябре 1930 года, попали на рыбные промыслы в г. Полярное – 200, поселки Сайда-Губа – 700, Зеленцы – 500, в Териберку – 300 семей. В 1931–1932 гг. на рыбные промыслы были сосланы: в поселки Гаврилово – 200, Тюва-Губа – 300, Порт Влади-

мир – 300, Западная Лица – 200, Харловка – 100, Шельпино – 100, Лопатка – 100 семей. Наибольшее количество спецпереселенцев, то бишь кулаков, прибыло с Украины, Белоруссии, Саратовской, Астраханской и др. южных областей. Среди высланных преобладало взрослое трудоспособное население. В становищах Сайда-Губа и Порт Владимир была организована переработка рыбы, в Териберке и Шельпино – фактория по приемке рыбы-сырца. Высланные, многие из которых в прошлом были рыбаками, сразу же занялись промыслом. Они работали капитанами судов, мастерами по обработке рыбы, подсобными рабочими. А Шельпино, как и другие становища Мурмана, было закрыто для унежомов.⁹ Закрыли его, чтобы поселить высланных кулаков.

После ликвидации кулачества в деревне остались бедняки и середняки. При сельсовете был создан комитет бедноты, который решал все вопросы жизни села. Там же обсуждались вопросы поведения середняков. Если середняк отказывался сотрудничать – вступить в колхоз – или молчал, его облагали налогами. Если он выплачивал, снова облагали; потом, когда он не в силах был расплатиться, раскулачивали.

Кто же считался середняком? Всех не знаю, но хозяйство моего отца считалось середняцким. Тогда в нашем хозяйстве имелось две коровы, кобыла, жеребенок и десять овец. На Мурмане у отца был бот – парусник. И все это на семью в тринадцать человек! Много ли на такую семью? Кажется немного, и даже мало. Жили не сыто, лишнего не было, продукты всегда были на учете. Нелегко было отцу прокормить такую многочисленную семью. С мая по октябрь работал на Мурмане в соленой и холодной воде, в бурю и шторм, добывая кормилицу-треску, зимой строил бот и дом, плотничал, бондарничал.

Последний раз унежомы на Мурман ушли «от колхоза». Так же ловили и сдавали рыбу, только теперь государству, по баснословно низким ценам. В конце сезона всем промышленникам велели сдать посуду: бота, ёлы, карбаса, лодки, шлюпки, снасть тоже. Нажитое многолетним неимоверно тяжелым трудом пришлось отдавать бесплатно в колхоз. Рыбаки переживали: как жить дальше? У

⁹ В становище Шельпино ходили на промысел многие унежомы, в том числе и семья Ульяновых.

них отняли орудия производства, кончилась «поморская вольница», привычный труд и мало-мальски обеспеченный заработок. Впереди новая жизнь – колхозная.

– Что будем делать, мужики? – собираясь группами, спрашивали друг друга рыбаки.

– А помните с чего начиналась коллективизация? Все забрали у кулаков, а самих выслали!

– Да не кулаки они были, а просто трудолюбивые зажиточные поморы. Наживали своим храпом, – вступил в разговор Куколев Иван.

– Средняки тоже на учете, не попасть бы под мерку кулаков, чтобы нас не разорила советская власть! – сказал Павел Семихин.

– В колхозе будем жить в одном доме, спать под одним одеялом и бабы, и мужики, так мне рассказывали нюхотские мужики, – доложил Петр Евтюков.

– Да нет, Петро, бабы будут жить отдельно, – возразил Варзугин Николай.

– Нет, не отдам свою Лизветушку, она моя и всё тут! Хотя какой колхоз, не отдам! – уверенно проговорил Фролов.

– Если будешь ударно работать, заработаешь много трудодней, тогда дадут тебе твою бабу, а если будешь плохо работать, спи один.

– А кто будет с ребятами? У меня их двое, кто будет корову доить, стряпать? – кипятился Николай.

– Ребят сдашь в детсад, а корову подоишь сам или наймешь старуху, – разъярялся Петр.

– Вот так новая жизнь! – сокрушались мужики.

– Да врет всё Петро, не верьте! Такого не может быть, – сказал Евтюков Михаил. – Тимофей, председатель колхоза, говорил что будем жить как жили.

Если бы отец не вступил в колхоз, нас бы раскулачили и всех сослали. Рыбаки-поморы трудились всегда малой артелью или своей семьей, а общая работа и общая жизнь была незнакома, они ее боялись. Работа в колхозе не гарантировала заработка, так как все заработанное шло в общий котел, а потом распределялось по едокам. Первое время нашей семье при таком распределении жить было хорошо, потому что продукты получали на едоков, а у нас их

было много. Но это длилось недолго. За работу стали ставить трудодни-палочки; ни денег, ни натурой не платили.

Колхоз наш «Великое дело» получал кредиты от государства и кое-как держался. Был построен конный двор, конюшня, коровник, телятник, потом мотобот «Герой». В деревне были ясли-сад, фельдшерский пункт, столовая, почта, магазин, сельсовет, контора колхоза, изба-читальня.

Первые годы колхозники, занятые на работах, питались бесплатно в столовой. Там варили мясной суп, кашу, картошку или вермишель с мясом. В праздничные дни собирались в столовой. За счет колхоза закупали вино, пекли плюшки, готовили чай. Там же награждали почетными грамотами и «ценными» подарками. Столовая, просуществовавшая недолго, была закрыта как убыточная. Собрания стали проводить в избе-читальне, то есть в бывшей Никольской церкви.

Всё, что выросло на полях – картошка, жито – всё сдавалось государству. Лишь в некоторые урожайные годы выдавали немного картошки. Молоко тут же на молокозаводе перерабатывали на масло, забивали скот и всё это увозили в Онегу. С каждого колхозного хозяйства полагалось сдать молоко, мясо, картошку, шерсть, яйца. От своего личного хозяйства не оставалось почти ничего. Нелегко было жить в деревне!

Колхоз в основном был рыбацкий, хотя в его составе были животноводческая и полеводческая бригады. Были закуплены невода, сети, сделаны мерёжи для лова рыбы. На тонях¹⁰ в Сосновке, на Пеньковой, на Лёхлуде, в Цель-Наволоке и в Челице для рыбаков были оборудованы теплые избушки. Всю весну и осень там ловили рыбу и сдавали на приемный пункт на щелье Великой вараки. Там же была примитивная морозилка. Работали на путине подростки и старики. Ловили сельдь, кумжу, сигов, корюшку, камбалу, навагу.

Рыбацкая работа тяжелая. Для того чтобы поставить простейшую ловушку, надо было в грунт забить колья, повесить на них сети, установить мерёжу. В случае шторма убирай сети и ловушки, иначе всё изломает, разобьет море. Особенно трудно было рыбачить зимой и весной: холодно, одежда плохая, обуви совсем никакой в

¹⁰ Рыболовная тоня – участок моря с прилегающим берегом. На тонях строили избушки для временного проживания рыбаков.

продаже не было. Иногда привозили в магазин сапоги, ватные брюки и куртки, их в первую очередь продавали рыбакам. Но всем не хватало.

С появлением колхозов начались лесозаготовки. Из колхоза по разнарядке отправляли молодых ребят и девочек заготавливать «зеленое золото». Колхоз выделял лошадей, давал сено и овес, лесорубам выписывали хлеб или жито, чтобы взять с собой. На лесозаготовки ехали неохотно, как на каторгу. Зимой в лесу пилили сосны и ели поперечными пилами, обрубали сучья, деревья возили на лошадях на склад. Легко ли пилить согнувшись, весь день по колесу в снегу, а потом накатывать мерзлые, как железные, деревья на санки! Мужикам и то тяжело, а пятнадцати-шестнадцатилетним девчонкам каково! Приезжали они из леса на день-два за продуктами и хлебом, помыться в бане, изможденные, осунувшиеся. За работу в лесу кормили три раза в день, но не густо, заработка хватало только на питание, некоторые оставались должниками.

Ребята моего возраста понимали, что если они останутся в Унежме, будут тоже работать на лесозаготовках и в колхозе. Им приготовлена та же участь, что и старшим: ловить рыбу и сдавать ее бесплатно, работать в колхозе за трудовни-палочки. Поэтому, кто мог, уезжал к родственникам в Онегу, Архангельск, Мурманск.

От Сосновки едем на Подваженье. Выбираемся на тракт и по нему до Кушереки. В Кушереку прибываем в тот же день.

В Кушереке я ни разу не бывал. Это большая деревня по обе стороны реки Куши́. Дома в деревне добротные, много двухэтажных. Утром следующего дня поехали дальше. Через пятнадцать километров появилось село Малошуйка, а еще через четырнадцать неожиданно увидели кресты церкви и колокольню Нименьги.

Нименьга тоже по обе стороны реки. В ее составе несколько деревушек. Сначала въезжаем в Верещагино, напротив за рекой Бокково, вниз по реке деревенька из шести домов Выползово, еще ниже по реке деревня Низ. Вверх по реке от Верещагино есть еще хуторок Хельмяново и деревня Верховье.

Евдокия Викторовна много раз бывала в Нименьге и уверенно управляла лошадьё. Вдоль по реке – сплошные пахотные земли. Земля черная, мягкая. Около реки оставлена неширокая полоска для прохода и проезда. По этой дорожке мы приехали на постой. В этом доме останавливались все унежомы, едущие в Онегу или из Онеги. Дом большой, пятистенок, пять окон по фасаду, добротный, крепкий, удобный. Видно, что строил его хороший мастер. За домом большой двор, хлевы. Хозяйева этого дома – Анастасия Егоровна и Прасковья Егоровна – родные сестры, обе пенсионерки. Раньше они с семьями жили каждая в своей половине, сейчас живут в одной, вместе. Тетя Настя после смерти мужа осталась одна, детей не было, а тетя Пара имела сына, который с семьёй постоянно жил в Мурманске. Летом, иногда осенью приезжал к старушкам, помогал копать картошку, заготавливал дрова.

Хозяюшки смотрят на нас и спрашивают:

– Чьих парнечков везешь, Овдотья, и куда?

– Учиться хотят дальше, а такая школа только у вас в Нименьге. Это мой сынок Ваня, а эти ребята тоже от нас из Унежмы.

– Чьи они?

– Один Матвея Максимовича, тот что чуть поменьше, а второй Павла Семихина. Наверное, знаете родителей их.

– Как же, знаю и Матвея, и Павла. Почти всех унежюмов знаю, все ко мне ездят, – говорит тетя Настя.

На другой день Евдокия Викторовна увела своего сынка в Боково. «Там в семье наших знакомых будет жить Ваня», – заявила она. А я и Костя остались жить у этих старушек. Они нам рассказали, что и как делать, как себя вести: раздеваться у порога, спать на полатах, уроки готовить в передней комнате, в туалете не пачкать.

Утром бабушки сварили картошки, вскипятили чай и разбудили нас:

– Вставайте, ребята, скоро в школу.

Не успели мы поесть и попить, заходит высокий парень. Это Костя Хромушкин – племянник наших хозяек. Он немного рябоват, ладно одет, на ногах сапоги по размеру. По дороге в школу мы узнали, что живет он рядом, что в семье у них отец, мать, сестра.

Дорога в школу – верх по реке через Выползово в Верещагино. Верещагино – это самая большая деревня Нименьги. Здесь две школы: начальная и неполная средняя, сельсовет, почта и сберкасса,

контора колхоза, пекарня, магазин – центр всей Нименьги. А вот и наша школа. Проходим через небольшой коридорчик и попадаем в большую комнату с высокими потолками – это вестибюль. Из него двери в классы (их три), в учительскую, туалеты и раздевалку.

На Поморском берегу от Унежмы до Онеги только в Нименьге была школа-семилетка. Сюда съехались дети из всех сел побережья и даже из глухих лесных деревень Калгачихи, Юрьевой Горы и Ветреного пояса. На переменке собирались в кучки, знакомились, рассказывали о себе, о своих селах.

– Мы Могучие, мы всё можем, наш купец Могучий владел половиной Мурмана, имел фактории, – хвалился Венька Могучий. За спиной его стоял брат Колька, а еще подальше Витька Заболотный, Алька Баёва – все из Малошуйки.

– У нас в лесной и озерной стороне мы сами всему хозяева, что хотим, то и делаем. У нас своя республика! Рыбы в озерах и реках полно! – это Витька Розанов из Юрьевой Горы хвалится своей родиной, расположенной за непроходимыми лесами и болотами, куда и зимой трудно добраться.

– А мы из Кушереки, мы поморы, плаваем на Мурман ловить треску. В этом году я был зуйком, наживлял яруса, выходил с отцом в море, – хвастался Петя Амосов.

– Мы – уножомы. Я уже два года ходил на Мурман. Отец говорил, что нашу деревню основали новгородцы – беглые крестьяне и солдаты, – рассказывал мой тезка Ваня Куколев.

– У нас раньше соль вываривали из морской воды. Варака, на которой была солеварня, называется Варничной, – добавляю я.

– И у нас на море были солеварни, – кричат ребята из Кушереки.

– У нас тоже были солеварни!

– И у нас!

Звонит звонок, прерывая наш крик. Разбегаемся по классам, как воробы.

Начинаются уроки – ступеньки к познанию. Тут не то что в Унежме: написал или не написал, выучил или не выучил – всё хорошо. Алгебра потрудней и посложней – иксы и игреки. Ведет этот предмет учительница Кузьминская. На уроках усваиваю, домашние задания выполняю, мне интересно. В тетрадях «четыре» и «пять». А вот устно и у доски у меня не хватает духу, теряюсь, забываю и

стою как незнайка. Так же и по другим точным предметам: физике, геометрии, химии. Это сказывается учеба в Унежме. Там учились в основном самостоятельно. Зинаида Михайловна задаст читать, писать или решать, уйдет в другой класс или к себе в комнатушку, а мы сидим одни. Иной день на заданиях только и жили. К доске почти не вызывала, с места не спрашивала. И вот тут я расплачивался не только за робость, но и за плохое знание предыдущего материала. Значительно лучше шли дела по русскому и литературе. К этим урокам я относился с любовью.

Пришла зима. Одели валенки. Мне они были не по ногам – велики. Фуфайка тоже большая. В такой одежде я похож был на пугало, но что поделаешь, другого не было. Иногда приезжали подводы из Унежмы, привозилистряпню, немного картошки. По дороге из школы с Костей заходили в магазин, покупали хлеба. Жить приходилось не обильно, можно сказать впроголодь. Видя это, наши добрые бабушки давали иногда понемногу супа, а чаще гороховицы. Гороховицу, которую готовили хозяйюшки, я и сейчас вспоминаю. Такая вкуснятина, еще бы ел, да нет! Они распаривали зеленый горох в печке так что он превращался в кашу. Эта каша – запашистая, мягкая, съедалась моментально. Они посоветовали нам сходить к председателю колхоза Александру Васильевичу Вялкову, попросить чтобы он выписал гороху. Мы сходили, он нам выписал десять килограмм.

Зима была холодная. В нашей школе с печным отоплением тоже было холодно. Сидели на уроках в валенках, фуфайках, иногда шапках. Чем ближе к весне, тем трудней стало жить. В магазине стали давать по четыреста грамм хлеба, иногда его совсем не было. Кончались деньги, а из дому ничего не присылали.

В конце мая закончился учебный год. Скорей домой! К двенадцати часам дня были в Кушереке, а к вечеру дома. Летом, как обычно, ловил рыбу, ходил за ягодами. В нашей семье событие: появился братик Сашка. До него был мальчик Петя, но жил недолго, всего один месяц. С Сашкой нянчилась Свира. Мать все лето ходила на сенокос и Санька сидел с нами. Кормили его молоком через рог, давали жвачку – пережеванный хлеб в тряпке. Ложили спать в качалку, подвешенную на длинной палке, которая проходила через всю кухню до запечья. Отец трудился в рыболовецкой бригаде на ремонте сетей, рюж, вязал новые сети. Чтобы прожить, ры-

бакам колхоз давал авансом деньги под заработки, которые будут осенью. Летом в жаркие дни спали в передней комнате. Над ней была крыша, временный пол, окна заколочены досками. На козлах – доски, сверху лосиные шкуры, постели, подушки, одеяла, разное тряпье. Тут прохладно, много воздуха.

В конце августа начинала поспевать клюква – наш северный виноград. Старики, старухи, дети – все шли на болото, а вечером с полными корзинами, кошельками возвращались домой. Клюкву сдавали в магазин за хлеб, сахар и чай. Как и все в Унежме, мы тоже сдавали клюкву и отоваривались продуктами.

Перед отъездом с Костей Семихиным сходили на Малый ручей за рябиной. Она была еще не совсем спелая, твердая и горькая. Такую рябину обычно связывали в пучки и оставляли дозревать в солнечном месте. Связав гроздь рябины в пучки, я пошел на подволоку, чтобы повесить на дозревание. На новой подволоке за все время, прошедшее после постройки дома, ни разу не бывал. Повесив рябину и осмотревшись, пошел к выходу, и тут я увидел брезент, а под ним что-то спрятанное. Когда снял брезент, то там оказались книги, тетради, альбомы, блокноты. Они меня заинтересовали, я стал разбирать и читать. Вот стихотворение без названия и автора:

Выхожу один я на дорогу:
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Интересно! Прочитал до конца. А почерк – Федора Матвеевича. Неужели он такое сочинил? Листаю дальше. Вот «Письмо». Читаю:

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне.
 Что ты часто ходишь на дорогу
 В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
 Часто видится одно и то ж:
 Будто кто-то мне в кабацкой драке
 Саданул под сердце финский нож.

Как интересно! Тут же прочитал всё стихотворение и сразу запомнил. С одного раза!

Кажется с этого времени я полюбил стихи, постоянно искал и читал поэтические сборники. Потом в седьмом классе узнал, что автор первого стихотворения – М.Ю. Лермонтов, а об авторе второго долго не мог ничего узнать. Только после войны разузнал, что автор «Письма к матери» – Сергей Есенин, этот чародей русского языка, гений русской поэзии. Всего его прочел, запомнил, любил слушать песни на его стихи, читать о нем все, что появлялось в печати.

Были в этих альбомчиках и тетрадях четверостишия и частушки. Запомнилась одна из них:

Жасмин – аленький цветочек,
 Он пахнет очень хорошо.
 Понюхай, миленький дружок,
 А в руки не бери его.

Какая наивная шутка-загадка! После первых находок еще и еще ходил на чердак. И вот еще очень интересное стихотворение:

Ой, полным-полна коробушка,
 Есть и ситцы и парча,
 Пожалей, моя зазнобушка,
 Молодецкого плеча!

А внизу под стихотворением, как ни странно, читаю: Н. Некрасов, «Коробейники». Коробейников прочитал от начала до конца.

Время неумолимо шло вперед. Опять надо было ехать в эту ненавистную Нименьгу. Как не хотелось! Редко-редко ездили унежомы, еще реже привозили посылки. В магазине хлеба не стали давать.

На каникулы ходили домой. Дома со мной приключилось несчастье: обварил кипятком ногу. С большого пальца левой ноги сошла кожа. С больной ногой я и приехал в Нименьгу. Ходил и хромал. Месяца через три, уже на весне, одна из побывавших у нас женщин посоветовала намазать палец сырым куриным яйцом. Через несколько дней боль как рукой сняло, незаживающая так долго рана закрылась. Во время болезни ноги я не ходил никуда, кроме школы. Валяясь на полатах, был свидетелем как в дом к нашим хозяйкам приходили незнакомые женщины, просили чего-нибудь поесть. Тетя Настя и тетя Паша спрашивали, откуда они. Женщины отвечали:

– Издалека мы, с юга!

– А зачем сюда приехали? – спрашивали бабушки.

– Нас раскулачили и сослали. Теперь мы живем в Калгачихе. Подайте ради Бога!

Старушки сочувственно относились к просителям, давали им хлеб, садили за стол и кормили.

Зимой на севере дни короткие, поэтому мы старались за светлом выучить уроки. Лампу зажигали ненадолго, в продаже редко бывал керосин. В такие длинные зимние вечера сестрицы вспоминали былые годы, счастливые дни, обсуждали деревенские новости, рассказывали сказки, бывальщины, частушки. Одна из них мне зашла в душу:

Жили-были три китайца:

Дьяк, Дьяксадрак, Елегитрон.

Жили-были три китайки:

Сипси, Рипси, Симпанпон.

Поженились: Дьяк на Рипси,

Дьяксадрак на Симпанпон,

На Сипси – Елегитрон.

В том 1934 году с 1 января в Онеге стали вольно продавать хлеб. После окончания уроков в субботу с Костей намыливали ноги и шли в город. Приходили утром, занимали очередь, отстояв ее по-

купали хлеб и шли обратно в Нименьгу. Этим хлебом жили до субботы. Дорога в Онегу и из Онеги отбирала много сил, изматывала, ведь туда и обратно около шестидесяти километров.

В учебе стали появляться хвосты, интерес к ней стал пропадать, и может быть из-за того, что мозг, да и весь организм, не получал достаточного питания. Зато на голове появились ненужные жители, которые жадно кусались.

Весной еще голодней, зимняя дорога пропала, унежомы не ездили, не было посылок. Опять пришлось идти к Вялкову просить гороха. И он опять выручил. Этим горохом дожили до конца учебы. Пятый и шестой классы я закончил с тройками и четверками. В конце учебы нам сказали, что в будущем году в Нименьге не будет семилетки.

От Нименьги до Унежмы почти шестьдесят километров. От Подваженья шли по отливу. День был солнечный, теплый. Когда перешли песчаную гряду Сосновки показались варакы, дома, церковь, а колокольни уже не было. Ее свалили в 1931 году. При ее падении задрожала земля, ахнуло, и этот звук разнесся по деревне и по варакам.

Лето прошло как обычно незаметно. Ох как не хотелось ехать в Онегу! Предстоял еще год испытаний, голода, холода. И опять на новом, еще не известном мне месте, с новыми людьми. И еще дальше от дома. Но надо было закончить семилетку! В то время семилетка для деревенского парня считалась большим достижением. Но всей сложности учебы и жизни в Онеге я тогда не представлял.

В конце августа на мотоботе «Герой» меня и Ивана повез его отец, Александр Федорович, в Онегу. Он был капитаном. Кости Семихина не было, так как он с сестрой, приехавшей в деревню в отпуск, уехал в Мурманск. На Поньге, на лесозаводе № 34, нас принял директор школы А.А. Фокин. Учиться будем в седьмом классе, а жить в школе на чердаке. Через некоторое время с чердака нас перевели в общежитие, что на берегу речки Поньги. В подъезде, куда нас перевели, было две комнаты и кухня. Одну комнату занимала уборщица школы и ее дочка, а другую двое ее парней. К ним подселили меня и Ивана.

Школа на лесозаводе деревянная, двухэтажная, средняя, т.е. десятилетка. Поселок большой, дома и улицы деревянные, тротуары

и проезжая часть из толстых досок. По поселку, по дорогам – опилки и стружки. Город Онега – на другой стороне реки. Перевоз людей производится на катере в полную воду. Мой дружок недолго пожил со мной на Понье. В воскресенье уехал в город, да там и остался жить у Лукинской Василисы, нашей унежомки. Учиться перешел в городскую школу. Опять я остался один. Конечно, помощи я от него не ждал, но вдвоем веселей. С собой я привез только немного денег и о роскошном житье нечего было думать. Покупал только хлеб, иногда соленый огурец.

Поньгская школа отличалась от Нименьгской. Тут учителя были специалисты со стажем и мне, прошедшему курс пятого и шестого класса в деревне, было трудно гнаться за городскими ребятами. Мои познания и развитие еле-еле вытягивали на тройку. Учиться было тяжело, запущенность старого материала давала себя знать.

После школы шел в магазин, покупал хлеб и пил чай с солью, вернее кипяток. Чай у нашей уборщицы Вассы Гусевой всегда был горячим. Видела она, как трудно мне жить, и иногда давала вареной картошки. Картошка ее – ворзогорская (раньше она жила в Ворзогорах), сладкая, рассыпчатая¹¹. В Нименьге меня подкармливали старушки Ушаковы, а тут Васса Николаевна. Говорят, мир не без добрых людей. Я-то это испытал на своей шкуре! В моей жизни было много добрых и сердечных людей. Они помогли мне выстоять, пережить тяжелые периоды жизни. Спасибо им – тете Насте и Паре, Вассе Николаевне!

Как ни трудно, голодно, но седьмой класс я закончил. В аттестате – сплошные тройки, кроме русского и литературы. Скорей домой! Дома хлеба мало, дак наловлю и наемся рыбы. Неудовлетворенность едой, голод сопровождали меня все эти годы. Дома я был сыт за счет рыбы. Ежедневно ходил торбовать камбал, дома сидел только во время шторма. В июле начиналась морошка, потом голубика, вороника. Дикорастущие собирали в больших количествах и употребляли в свежем виде.

Мой дружок Ваня Куколев не успокоился на семилетке, он опять стал угваривать меня учиться дальше. В один из воскресных

¹¹ Ворзогоры и Пурнема славились своей картошкой по всему Поморью.

дней он пришел ко мне с газетой «Правда Севера», в которой были объявления о приеме в техникумы и высшие учебные заведения. Сам себе уже выбрал место учебы: мелиоративный техникум, советовал и мне туда же подать заявление. Его бы приняли, а меня нет, так как мне не исполнилось шестнадцати лет. И тогда отец пошел в сельсовет за метриками и договорился с председателем сельсовета прибавить год. По новым метрикам я стал на год старше, т.е. с 1918 года. Как я жалел, что послушал своего друга, пообещав ехать на учебу в Архангельск! Как переживал за свою оплошность! Жизнь в Архангельске мне представлялась более изнурительной, даже хуже, чем в Нименьге и на Поньге.

В августе в отпуск приехал Алексей Матвеевич. Он пообещал взять меня в Мурманск. Отец написал письмо Федору Матвеевичу, чтобы он приютил, прописал в свою комнату. Оглядываясь назад, скажу прямо: он меня выручил.

В заполярный туманный Мурманск приехали рано утром. Накрапывал дождь, мерцали огоньки: внизу – в порту,верху – на вокзале. По длинной деревянной лестнице поднимаемся на вокзал. Вокзал – деревянный стандартный одноэтажный дом. Около него площадь, а от нее вверх налево и направо – городские улицы. Слева – единственный каменный дом.

– Это ТПО, – поясняет Алексей, – в нем магазины и столовая. Сейчас пойдем на Жилстрой к Федору.

Бредем по илистой вязкой грязи. На ходу читаю вывески: улица Книповича, Мурманское мореходное училище, проспект Кирова. Это Жилстрой. Тут на улице М. Горького живет Федор Матвеевич с семьей – один из братьев, имеющих жилплощадь. Входим в квартиру. Открывает Авдотья Степановна. Разговаривает сухо, нехотя, сдержанно – радости от появления родственников никакой. Алексей ушел на судно, а я остался. Скипятила чай, налила чашку. Я пил чай, а она за мной следила. Я это понял внутренним чувством. Вечером она мне сказала:

– Возьми в кладовке одеяло с подушкой и на полу ложись спать.

Кладовка – это место для бездействующего туалета, заполненное грязными ведрами, лентяйками¹², метлами, разным тряпьем. Среди этого хлама еле разыскал одеяло и подушку. Матраса не было, пришлось спать на одеяле и одеялом накрываться.

Следующие несколько дней пошли на поиск работы. Так как я был еще несовершеннолетним, на обычную работу не принимали. Пошел в школу ФЗУ судоверфи. Там набор кончился и меня не взяли. Сунулся в отдел кадров Рыбокомбината. Сразу же поступил в группу по подготовке бондарей. Когда узнали мои родственники, что я буду учиться на бондаря, удивлялись и смеялись – ведь в нашей поморской семье все были рыбаками. Особенно по этому поводу злорадствовала Авдотья и отец и мать Авдотьи, жившие рядом. Может быть я поступил бы в более престижное учреждение, если бы мне кто-нибудь помог. Помочь имели возможность, но не хотели. Федор в то время был в отпуске и при желании мог помочь.

Несмотря на такое отношение, я стал учиться. Стипендию выдавали десять рублей на месяц и талоны на обед. Первоначально думал, что буду питаться в семье брата, но не тут-то было. Когда я получил первую получку и стал отдавать Авдотье, она не взяла и сказала: «Кормись сам». Она все куда-то прятала, даже хлеба корки не найдешь, а ключ постоянно у нее висел на поясе. На скудные свои деньги я покупал хлеб и сахар, пил чай, а днем, если был талон, ходил в столовую. Спать ложился пораньше, чтобы не проспать – ведь занятия начинались в восемь часов утра, а еще потому, что если поздно приходил, стоял у двери и долго ждал, когда откроют.

Будущие бондари – это подростки четырнадцати-пятнадцати лет с незаконченным средним образованием – пять, шесть классов. Были ребята, как и я, с семилеткой. Там я познакомился с земляком Сашей Денисовым из Кушереки, а через него с Павликом Лебедевым. Саша Денисов жил, как и я, у дяди, и тоже на улице Горького, через дорогу. К нему я часто ходил, мы крепко подружились и всегда ходили вместе. Среди других ребят запомнились Петя Хорев, Коля Смирнов, Андрей Вдовин – все они из северных областей. Впоследствии они тоже стали моими друзьями. В Мурманске в то время жил дядя Гриша с семьей – женой Антониной и детьми Аней

¹² Лентяжкой называли швабру.

и Лидой. Жили они в бараке на улице Советской, занимали одну небольшую комнату. К ним я часто ходил, они меня всегда хорошо принимали, поили и кормили. Белье в стирку к ним носил. Стирала в основном Аня.

Учеба моя продолжалась десять месяцев. К концу ее стали платить стипендию шестнадцать рублей. В июле месяце 1936 года была сдача экзаменов, а после отпуск. За отпуск я получил двадцать рублей и пошел купить костюм, но денег не хватило. Когда Алексей пришел из моря, я ему об этом сказал. Мы пошли в магазин, он добавил двенадцать рублей и мы купили костюм серого цвета. Это был мой первый городской костюм. И еще одна обновка у меня появилась – пальто. Его мне подарил Алексей. Ему оно было мало, а мне как раз. Теплое, бобриковое – оно меня спасало не один год от холодов.

К Алексею я ходил на судно, как только «Аскольд» приходил в порт. Часто он меня кормил едой из судовой кухни или водил в столовую, расположенную на территории порта. Алексей Матвеевич был добрый и гостеприимный человек. Всю жизнь он плавал в морях: сначала с отцом, потом в траловом флоте. С детских лет познал трудности рыбацкой жизни, сам испытал их и сочувствовал другим. Он ничем не выделялся: ниже среднего роста, блондинистого цвета, с неторопливыми движениями, голос с картавинкой, был парнем с распахнутой душой. Как и все моряки, после рейса любил пображничать. Я часто ходил по причалу, ожидая прихода судна, на котором он работал тралмейстером.

Вдоль причалов стояли суда, уже разгруженные и ожидавшие разгрузки. Приходившие с моря по возможности сразу ставились под выгрузку. Стампы, наполненные окунем, треской, палтусом, вытаскивали из трюмов судов соленую и свежую рыбу, ее увозили в посолзавод или холодильник. Там рыбу обрабатывали, отгружали в магазины города или в вагоны. Около ста вагонов свежей и соленой рыбы, консервов, печени и жира отгружали мурманчане в глубь страны. В рыбном порту были консервный, копильный, посолзаводы, холодильник, завод рыбного медицинского жира. Ежедневно приходили в порт с полным грузом труженики-траулеры, а разгрузившись снова уходили в суровое Баренцево море. Более двадцати процентов океанической рыбы давал Мурманск стране.

Мурманск снабжался по первой категории. В магазинах все было: мясо, рыба, колбаса, хлеб белый и черный разных наименований, одежда, обувь, мануфактура, вина, ликеры, наливки, настойки. Строились каменные дома, школы, магазины, дом культуры рыбаков. Но основным жильем по-прежнему были бараки, изредка двухэтажные деревянные дома. Один из районов, где стояли домишки из досок, фанеры и разного хлама, называли «Шанхай». Теперь в этом овраге построен стадион. Город рос в северную сторону к Зеленому мысу, в южную – к Коле.

Отпуск мой кончился и я пошел на работу в тароремонтный цех. Пока было тепло, ремонтировали бочки в овраге около бани, с холодами перешли в цех – вновь построенный около первой проходной. Ремонтировали бочки с заменой клепок, доньев, обручей. Работа оплачивалась очень низко, но специалисты-бондаря зарабатывали хорошо. Были у нас в цеху братья Шоховы, Турасов, Муруговы отец и сын – делали по сорок-пятьдесят и более бочек. Они перевыполняли норму и с прогрессивкой получали прекрасно. Потом, когда возникло стахановское движение, они стали первыми стахановцами. Как только появились сообщения о рекорде Стаханова, начальник нашего цеха Соколов, зная, что я окончил семилетку и хорошо читаю, на обеденных перерывах заставлял читать «Полярную Правду».

На обед рабочие собирались в красном уголке, туда же уборщицы приносили кипяток, заваривали чай. Бондаря приносили обед с собой, а мы, фабзайчата, как только начинали звонить в рельсу, бежали за булкой или хлебом в ларек, который был рядом за проезжей дорогой.

Новый цех, в котором работали – это барак. У окон с двух сторон рабочие места, посередине тоже верстаки с обеих сторон. В смену работало человек по тридцать бондарей. В цехе было холодно, хотя отопление центральное. С одной стороны было две двери, и с другой тоже. Бочки закатывали со снегом и со льдом, мерзлые. Зима 1937 года была холодная, а для меня особенно, потому что никакой теплой одежды и обуви не было. На голове простая кепка, на ногах полуботинки матерчатые, белье легкое летнее. Особенно мерзли уши и ноги. Шапки-ушанки не было, но она, новая, Федора Матвеевича, висела на гвозде около ходиков у кровати. И я решил воспользоваться ею, чтобы не отморозить уши. Утром, уже совсем

готовый идти на работу, схватил ее и бегом из комнаты. Слышался крик Авдотьи, но он меня не остановил. Весь день я был в тепле и радовался, а потом к концу смены настроение мое упало, я ожидал – мне не миновать разноса. Так оно и получилось. Как только зашел в комнату, шапка моментально была сорвана с моей головы Авдотьей Степановной, моей крестной. Последовал грубый разговор:

– Зачем взял чужую шапку?

– Очень холодно, уши мерзнут, боюсь отморозить их, – несмело отреагировал я.

– Чужое ничего не брать, нужно иметь свое, – был ответ.

Вот оно, подлинное лицо Авдотьи. Никакой жалости, никакого милосердия, хоть замерзай! Прежде, дома, меня называли Ваней, а теперь я Ванька, а то и просто «ты». От ее хитрого уважительного отношения не осталось и следа. Она боялась, как бы мы их не объели, не утащили бы чего из комнаты. В ней ожил инстинкт стяжателей-родителей.

Осенью 1936 года меня вызвали в военкомат на приписку. Осматривали врачи и направили на операцию по поводу пупочной грыжи. Операция была недолгой под местным наркозом. Выписали меня на легкие работы. Когда я принес Соколову справку, он мне не сразу ответил, где работать, сказал:

– Посиди, а я схожу в контору.

Я знал, что пойдет он к Панову Н.Г. – начальнику тарного хозяйства. Панов уже меня знал по общественной работе – я зачислен был агитатором.

– Будешь мастером! – вернувшись, сказал начальник цеха. Принимать по количеству и качеству бочки у рабочих и записывать.

– Дак есть же у нас мастер, Николай Иванович!

– Поработаешь с ним три дня, а потом будешь один. Он пойдет в отпуск, вопрос с ним уже решен.

Мастером так мастером, решил я. После возвращения Качалова я опять работал бондарем. В том же году осенью меня избрали членом завкома рыбокомбината, а в 1937 г. я вступил в комсомол.

После убийства Кирова начались всевозможные антисоветские процессы, разоблачения антипартийных групп, вредителей, врагов народа. По городу шныряли «черные вороны» – машины НКВД, забирая по ночам «врагов народа». На предприятиях проводились собрания в поддержку линии партии и мудрого вождя наро-

дов. Люди боялись говорить друг с другом, как бы не вылетело лишнее слово, не оказался бы друг «стукачом» – осведомителем комитета внутренних дел.

Вечера после работы в основном проводили на Жилстрое, ходили в кинотеатр «Северное Сияние». До войны он был деревянный, одноэтажный, штукатуренный снаружи и изнутри. В нем всегда было много посетителей, работал буфет, иногда играл духовой оркестр. В большом фойе по стенам устраивались выставки картин и фото-работ местных умельцев. Около «Северного Сияния» всегда было многолюдно, это было самое веселое место Жилстроя. Кто не пошел в кино, гуляли по Кирова парочками или группами, там же знакомились, ругались и дрались. Ходить по улице было безопасно – никакого транспорта, разве что телега проедет, в выходные дни и того не было. Напротив «Северного Сияния» – отделение милиции, а справа салон «Пиво-Воды». Воды почти никогда не было, а вот пиво всегда, и причем не одного наименования: «Жигулевское», «Ленинградское», «Московское», иногда «Мартовское».

В один из воскресных вечеров с Сашкой Денисовым мы пошли в кино. Там встретились с Колькой Смирновым. С ним была девочка лет 14–15-ти. Он сказал, что это его сестра Шура. Мы познакомились. Шура училась в техникуме на учителя младших классов. Потом через Колю я ее пригласил в кино, бывал в их семье, узнал родителей. Они жили в бараке на Колхозной улице. У нас завязалась дружба. Переполненный чувством к этой девушке, я написал письмо и отослал по почте. Не сумев объясниться в своем уважении и любви, использовал слова А.С. Пушкина из «Евгения Онегина»:

Я вам пишу, чего же боле,
Что я могу еще сказать?
Теперь я знаю – в вашей воле
Меня презреньем наказать.

Презренья не было, но разговор был серьезный и дружба продолжалась.

Летом 1937 г. я взял отпуск и поехал в Унежму. До Кеми на поезде, оттуда на пароходе до Онеги, а там на «Герое» до деревни. Почти два месяца жил в родительском доме. С тех пор как я уехал в семье появился еще один брат Толя, ему было чуть более года.



По окончании отпуска вернулся на работу – бондарить. На другой день меня вызвали в контору к начальнику тарного хозяйства Н.Г. Панову, я его знал с тех пор, как работал мастером. Однажды он меня пригласил к себе домой. Семья у него была небольшая: жена, маленький сынишка и брат Илья. Меня хорошо приняли, кормили, угощали чаем, а потом Николай Григорьевич стал

мне показывать альбом – фотокарточки, сделанные им самим. Вытащил фотоаппарат и предложил сняться на память. Та карточка сохранилась – в морском кителе (это его китель) и с надписью «Ваня».

И вот снова предстоит встреча с начальником. Поднимаюсь на третий этаж управления рыбокомбината, вхожу в бухгалтерию. Через стеклянную дверь – кабинет Николая Григорьевича. Увидев меня, он говорит:

– Ульянов, иди ко мне. Как съездил, где был? – задает вопросы, смотрит на меня и внимательно слушает.

– Пойдешь на новую работу, которую я предложу? – неожиданно спрашивает он.

– Я не знаю, что за работа и справлюсь ли с ней, – отвечаю неуверенно.

– Справишься, работа не трудная, по тебе. С завтрашнего дня я тебя назначаю инспектором по качеству тары. Будешь принимать бочки и ящики от бондарного завода. Познакомишься с мастерами, бракерами, работниками ОТК. Возьми государственные стан-

дарты, почитай, проштудируй и берись за дело. Я на тебя надеюсь. Оклад будет 175 рублей.

Я не стал возражать, поблагодарил за доверие и вышел, поняв что поднимаюсь на ступеньку выше моих друзей-бондарей.

Работа у меня была не грязная и не пыльная. Утром осматривал бочки и ящики. Если не было брака, разрешал возить на заводы, некачественные заставлял переделывать.

В начале 1937 года вышло постановление о проведении выборов в Верховный Совет РСФСР. Кандидатом в депутаты от мурманского избирательного округа был капитан Копытов Николай Леонтьевич. Нас, группу активных комсомольцев, горком комсомола направил на побережье для проведения агитмассовой работы по выборам. Мне досталась Западная Лица – небольшое рыбацкое селение на побережье Баренцева моря. В Западной Лице рыболовецкий колхоз, парт-комсомольская ячейка, сельсовет, клуб. Колхоз имел небольшие суденышки, ставные и запорные невода. В губу часто осенью заходили косяки сельди и местные рыбаки перекрывали губу, лишая сельдь выхода в море, а потом в маленькой губе вычерпывали ее. И так по всему побережью. Не только в становищах, и в Мурманске было полно селетки. Ее не успевали обрабатывать и отгружать.

Председателем сельсовета и секретарем парт-ячейки был Карьялайнен. У него я и жил. Секретарем комсомольской ячейки была финка Хильма Йоутсен. Я поинтересовался, как переводится на русский язык фамилия. Ответ был: лебедь. Выборы закончились с хорошими показателями и я вскоре уехал в Мурманск, попрощавшись с хорошими людьми. Приехав в Мурманск, отчитался о проведенной работе и опять стал трудиться на своем месте – инспектором по качеству тары.

Летом 1938 года я попросил отпуск. Его подписал безо всяких возражений Николай Григорьевич. И вот я опять на родине. И не один я такой отпускник. Приехали к своим матерям Тоня Евтюкова, Настя Епифанова. У нас в Заполье гостила Дуся Ульянова у своей матери Степаниды Андреевны. Дуся вся белая – и лицом и волосами, стройная, в белом платье, веселая, с широкой улыбкой. Не знаю, старше ли она меня была, но мне казалась она взрослей. Мы часто ходили то к морю, то на вараки. В первый же день на крыльце магази она запела:

Расцветали яблони и груши,
 Поплыли туманы над рекой.
 Выходила на берег Катюша,
 На высокий берег, на крутой...

Остановилась, кивком головы отбросила назад свои белые как лён кудри и спросила меня:

– Знаешь эту песню?

– Слышал, только что начали петь.

– Да все поют, весь город с утра до вечера, – и улыбнулась своими добрыми глазами.

Тут же спели «Катюшу» от начала до конца. Вечером в клубе разучивали, а на другой день вся деревня пела. Вскоре Дуся уехала, потом и я.

Осенью меня несколько раз вызывали в военкомат, проходил врачей, сдавал анализы. Весной 1939 года многих моих друзей призвали в армию, я тоже ожидал повестки, но меня не беспокоили.

Жить у Авдотьи стало невыносимо. Ворчала, не открывала дверей, иногда уходила к родителям надолго, а я стоял и ждал, когда придет. Ключей от комнаты мне не давала, а если я приходил за ними, недовольная сама шла с ребенком и самолично открывала. Я стал искать жильё. Поселился у Егорова Алексея по ул. Ленина в бараке. Жить у него пришлось недолго. Вскоре получил повестку. В тот же день получил расчет. Зашел к Николаю Григорьевичу попрощаться. Он по-отечески сказал:

– Ну Ваня, служи Родине как и работал, слушай командиров, выполняй команды. Вернешься – приходи, будем вместе работать!

Поблагодарил я этого доброго человека, сделавшего много хорошего для меня, а на другой день пошел в военкомат.

Наша команда призывников в количестве двенадцати человек во главе с лейтенантом, сопровождающим до места, 29 декабря погрузилась на поезд. Ехали в общем вагоне до Москвы. В Москве перешли на другой вокзал, и на Киев. Из Киева на Винницу – обла-

стной город, наш конечный пункт, в конвойный батальон войск НКВД. Об этом мы узнали от сопровождающего нас лейтенанта.

И вот большое белое трехэтажное здание за забором. В проходной дежурный солдат с винтовкой пропускает нас во двор. Начинается армейская, еще одна ступенька моей жизни.

Белая трехэтажная казарма – это мой дом. Большая светлая комната на юг и север на втором этаже – моя третья рота. Здесь я служу Родине и живу. Теперь я красноармеец 175 отдельного батальона войск НКВД.

В первый же день нас, вновь прибывших, сводили в баню, выдали белье, одежду, обувь. Всё старое, но чистое, прошедшее санобработку и ремонт. Вместо шапки-ушанки – буденовка. Все непривычно – одежда, обувь, люди, всё как-то не так. И жизнь необычная – всё надо делать по команде: ложиться, вставать, идти в столовую, на занятия. Первый день службы ушел на баню, всевозможные инструктажи, в том числе как заправлять койку, как и где складывать обмундирование и обувь на время сна, где вешать шинель. Вот моя кровать и тумбочка – пятая от прохода во втором ряду.

После ужина вечерняя прогулка строем и с песней, а потом «отбой», то есть сон. Казалось, не успел уснуть, а уже звучит команда «Подъем!» и вся казарма взбудоражилась: мелькают одеяла, простыни, подушки, люди – солдаты, по пояс голые. Это мы заправляем койки. И скорее в умывальник – занять рожок, почистить зубы и помыться. Всё расписано по минутам, надо торопиться, чтобы уложиться в расписание. После туалета завтрак – каша и чай, а потом занятия: изучение винтовки, противогаза, гранаты или пулемета, устава гарнизонной службы. Обед с четырнадцати до пятнадцати, после этого – час на дневной отдых. После отдыха занятия, и чаще всего во дворе на плацу. Двор большой, помещался весь батальон, да еще оставалось место для нескольких батальонов. Сзади двора туалеты с выгребной ямой, по левой и правой стороне вещевые и продовольственные склады.

Постоянно днем и вечером во дворе проходили занятия по строевой подготовке, слышались команды: «Шагом марш!», «Налево!», «Направо!», «Стой!». Тут же строем разучивали песни и чаще всего «Тачанку». Песня эта, простая, запоминающаяся, патриотическая, постоянно звучала:

По земле грохочут танки,
Самолеты петли вьют,
О буденовской тачанке
В небе летчики поют!

В другом конце плаца гремело:

И врагу поныне снится
Дождь свинцовый и густой,
Боевая колесница,
Пулеметчик молодой...

По пению можно было узнать, кто поет. Старослужащие пели слаженно с присвистом, шагали ровно, в ногу. Первогодки сбивались, путали ногу, строй нарушался, песня не слушалась. Многое зависело и от запевалы. Хороший запевала поднимал настроение, пелось легче, сохранялся шаг, строй шел ровно. На занятия за город всегда ходили с песней. Большой популярностью пользовался «Марш танкистов»:

Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны.
В строю стоят советские танкисты,
Своей любимой Родины сыны.

Гремя огнем, сверкая блеском стали –
Пойдут машины в яростный поход.
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведет!

На вечернюю прогулку тоже часто выходили за пределы казармы и обязательно пели песни. Солдатские строевые песни! Как они поднимают настроение, как они здорово звучат! Это голос отделения, роты, а еще громче – всего батальона. Особой популярностью пользовалась «Катюша»:

Ах ты, песня-песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед,
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет!

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю стережет родную,
А любовь Катюша сбережет!

Несмотря на холод и мороз, горожане выходили послушать необычную песню, посмотреть строй лихо поющих ребят.

Солдат поет и учится, а служба идет. Вот получили личное оружие – винтовку трехлинейную, и начались стрельбы. Почти ежедневно ходили за город на стрельбище. В день Советской Армии приняли присягу на верность родине и началась настоящая служба.

Сначала меня и четырех солдат с командиром отделения направили в суд на охрану заключенных, затем в наряд в тюрьму. Там поочередно через два часа мы стояли на вышке, охраняя, чтобы из тюрьмы через ограждение никто из заключенных не убежал. Днем хорошо на вышке стоять – все видно, ходят люди внизу, а вот ночью жутковато. Ты один, ветер шуршит в проводах и качает лампы, мелькают тени, как будто к тебе кто-то подбирается, чтобы схватить. На мне большой тулуп, шапка-ушанка и винтовка. Тулуп широкий, длинный и тяжелый, поворачиваться в нем неудобно. Смотрю во все глаза, весь в напряжении. Проходит мой срок и меня меняют.

Еще один вид нашей работы-службы – перевозка заключенных из одной тюрьмы в другую, из одного города в другой. Для этой цели направлялось определенное нужное количество красноармейцев и командиров, получали сухой паек, затем заключенных, грузились на вокзале в специальные вагоны с решетками для перевозки их, охраняя везли в другой город. Там сдавали тем кому полагалось, в тюрьму или в суд.

Командировки с заключенными проводились по Украине, в том числе в Западную Украину – Перемышль, Львов, а также за пределы – в Центральную Россию, на Урал, Западную и Восточную Сибирь. Красноармейцы, младшие командиры, которые оставались в казарме, продолжали заниматься и нести службу как обычно: изучали уставы, занимались шагистикой, ходили на стрельбище, отрабатывали тактические приемы ведения боя.

Зима 1939–1940 годов была очень холодная. Постоянно свирепствовали морозы, северные ветры, заносы. Одежда в то время у рядового состава была не приспособлена к зимним холодам: белье хлопчатобумажное, гимнастерка х/б, шинель, портянки, сапоги кирзовые. В таком обмундировании в казарме еще можно жить, а вот в поле на занятиях холодно. В один из зимних холодных дней на снежной целине проводили тактическое занятие: то лежали на снегу, то делали перебежки. Ветер бросает в лицо снежные хлопья, мороз хватает за уши и щеки, пальцы ног заковенели, все тело колотит озноб, а командир кричит: «Вперед!», «Ложись!», «Огонь!», опять «Вперед бегом!», и так до обеда. По дороге немного согрелся, а все равно холод где-то во мне остался. Вечером мне было то жарко, то холодно. Ночь спал плохо, потел, метался в бреду, а утром отпросился у командира отделения в санчасть. Оказалось что у меня высокая температура. Из медчасти увезли в госпиталь. Главный врач полковник Соколов при прослушивании определил мокрый плеврит, т.е. воспаление плевры.

Я очень похудел, мой вес при поступлении в госпиталь был сорок девять килограмм – бараний. Через несколько дней полковник Соколов в сопровождении двух медсестер пришел делать пункцию левого легкого. Одна медсестра держала меня, а вторая помогала ему. Большой шприц с длинной иглой он поднес к моему левому боку, нашел место между ребрами и нажал на него. Шприц моментально наполнился желтой жидкостью, еще и еще несколько раз. А я почувствовал себя очень плохо: ослаб, как тряпка, и весь побелел, как потом рассказывали ребята из палаты. Хорошо, что меня держала медсестра, а то бы упал. Потом еще несколько раз делали такие же пункции. При проведении последней отток желтой жидкости был незначителен.

В госпитале пролежал около трех месяцев. Выписали – и опять в свой конвойный батальон. Тут же, через несколько дней, вызвали в штаб, выдали документы с направлением во Львов, где был расквартирован конвойный батальон.

Львов не то что Винница – город большой, чистый, красивый, особенно весной. Цветут деревья, большинство их покрыто белыми нежными лепестками – это яблони, на других султанчики, как свечки, тоже белые – это каштаны, да всех и не перечтешь, сколько тут деревьев разных и цветов! А дома какие красивые! Ма-

газины, а в них витрины так и привлекают: «Зайди, купи!» Но заходить некогда, нас ведут строем в часть. От вокзала, от центра, идем на окраину Львова. Тут за высоким забором расположен конвойный батальон. Казармы каменные из красного кирпича строены на века, стены толстые, окна маленькие. Во дворе много деревьев, казармы еле видны с дороги. Здесь в одном месте располагаются все службы нашего подразделения. Это вроде военного городка, за батальоном чуть пониже по дороге стоит танковая часть. Танки в основном на отстое, законсервированы, а танкисты уехали в летние лагеря.

Простуда сильно подорвала мое здоровье. Я потел, сил не было, постоянно получал освобождение от занятий. В казарме нельзя было находиться, из части уходить тоже нельзя. Я выбрал укромное место в парке за деревьями и кустами. Сажу там на скамейке, смотрю – из-за кустов показалась сине-малиновая офицерская фуражка. Идет ко мне офицер. Убегать поздно, да и бесполезно. Когда он подошел поближе, я узнал в нем командира батальона майора Цыгичко. Встал, как ветром подняло, доложил:

– Товарищ майор, красноармеец Ульянов после нахождения в госпитале освобожден от занятий и нарядов, велено больше быть на воздухе!

– Почему вы здесь, товарищ красноармеец, а не в казарме? – строго спросил майор.

– Дневальный не разрешает быть в казарме, товарищ майор!

– Скажите дневальному, что я разрешил вам находиться в казарме. Да, покажите мне освобождение от службы.

Читал майор бумажку, выданную врачами госпиталя, и хмурился, а потом сказал:

– Идите в казарму!

– Есть в казарму, товарищ майор! – отрапортовал я, и пошагал к казарме.

Через два дня меня вызвали в штаб. За столом сидел писарь Колька Кулаков, с которым ехали из Мурманска в Винницу.

– Получай документы, – сказал он, – поедешь домой, ты отслужился.

– Как так? – спросил я.

– Тебя по чистой увольняют из армии. Документы пришли из госпиталя!

Получил документы, денежное довольствие, сухой паек – и домой в Унежму, так как врач посоветовал в деревню, на молоко, больше быть на природе.

До Кеми еду на поезде. С Кеми на пароходе до Онеги, а там, как раньше много раз ездил, на мотоботе колхоза «Герой». Дома меня радостно встречают мать, отец, Свира, Ульяна, Саша, Толя. Теперь отец работал дома: плел корзины, вязал сети, ремонтировал ловушки. Мать работала в полеводческой бригаде, Свира на путине, Ульяна на маслозаводе, Сашка и Толька бегали по улице – первому было семь, второму три года.

Первое время я нигде не работал. Родные кормили и поили меня самым лучшим, что было. Подоив корову, мать наливала стакан парного молока, сестра Свира приносила рыбу, Ульяна – кусок масла. За обедом и ужином были шаньги, рыбники, молоко, и в первую очередь мне. Было очень неудобно – ведь я обворовывал родителей, сестер, братьев. Они молчали, а мама оправдывала это моим плохим здоровьем, старалась кормить получше и побольше, чтобы я скорее поправился. Бедная моя мама! Как она боролась за мое здоровье, оставаясь голодной, отдавала всё мне, любимому сыну. Да, она меня любила как никого из детей – это я видел. За столом она сидела рядом со мной и смотрела, чтобы я все съедал. Благодаря ее заботам я опять стал полноценным человеком. В то время я не мог оценить ее доброту и милосердие, ее сострадание к своему дитяти. Только потом понял, какой подвиг она совершила, воспитав своих шестерых, да еще пятерых приемных детей. Спасибо ей, большой земной поклон и вечная память! Теперь, когда ее нет, я всё чаще задумываюсь: что я сделал хорошее, чем порадовал маму?

Прошло лето 1940 года, стал ходить в магазин. Однажды зашел в сельсовет к Антону Степановичу Тюрдееву, работавшему тогда председателем сельсовета. Показал ему свои бумаги, а он говорит:

– Эта болезнь не смертельная. Я вот с туберкулезом живу и не думаю помирать!

– Помирать и мне не хочется, мало пожито!

– А не хочется, дак давай-ка поработай, хватит жить на шее родителей.

– Рад бы, да где тут найдешь работу?

– У меня есть должность избача! Пойдешь?

– Чего же не идти, все равно хожу в клуб!

– Бери ключ от церкви и сегодня же начинай работать, а я отдам приказ о твоём назначении. Оклад небольшой, всего сорок рублей, да ведь и это деньги, они везде нужны.

И я стал работать избачом. Прежде всего занялся оформлением бывшей церкви, а теперь клуба. Написал три лозунга на красном материале и развесил их перед сценой: сверху один горизонтальный и по бокам два вертикальных. Сверху вертикальных приладил с одной стороны портрет Ленина, с другой – Сталина. Потом еще написал два лозунга, которые повесил по правой и левой стороне зрительного зала. Были в хламе кое-какие книги, в том числе и художественная литература, собрал их, почистил, сложил в шкаф, принесенный из сельсовета, и стал выдавать для чтения односельчанам – парням и девкам. Работа пошла. Зимой организовал стенгазету и художественную самодеятельность. В клуб стали ходить подростки, дети, а иногда и взрослые. Старики и старушки не заходили, ведь это церковь, бывшее святое место, превращенное в клуб, где грешники поют и танцуют вместо того, чтобы молиться богу.

Из ребят-подростков в то время выделялись Евтюков Михаил, Ульянов Егор, Епифанов Иван, Евтюков Анатолий – все они могли играть на балалайке. Из девочек Евтюкова Анна – секретарь комсомольский, Епифанова Надежда, Куколева Ольга, Фролова Любовь, Варзугина Августа. В клубе обычно водили кадрили. Кто-либо из парней играл на балалайке, а остальные водили хоровод, иногда играли в «ручеек», пели песни. В доме Варвары Евсеевны¹³ изредка собирались поиграть в дурака или подкидного. Играли по много раз. Однажды Любка Фролова осталась в дураках сорок раз.

Домой из клуба расходились в девять-десять часов. Как только я начинал гасить керосиновые лампы, мои посетители убегали на улицу. В темноте я добирался до двери, скорей закрывал входную дверь ни ключ и тоже скорей уходил из церкви. В темной церкви было жутко и страшно: кажется, вот-вот тебя кто-то схватит и не отпустит из этой черноты, ведь там, как говорили старшие, жили боги. На улице догонял девчат, а ими хороводила Ольга. Стояли на улице разговаривали, или шли домой по недавно сделанному де-

¹³ Варвара Евсеевна Куколева – мать Ольги Григорьевны Куколевой, последней жительницы Унежмы.

ревянному тротуару. Так как из Заполя нас было двое – я и Любка Фролова, шли вместе. Она меня моложе на три года. Разговор с ней обычно не получался, а если я ее хотел задержать, она вырывалась и убегала.

Началась весна сорок первого. Как обычно пахали землю, сеяли картошку, ловили рыбу. В воскресенье двадцать второго июня 1941 года председателю сельсовета сообщили из Онеги, что сегодня будет важное правительственное сообщение. А так как радио в Унежме не было, никто этого сообщения не слушал.

Вечером в магазине председатель сельсовета сказал, что началась война. На нас напали немцы. В магазине, где в воскресенье обычно собиралось много народу, стало тихо, все замолчали. Потом посыпались вопросы, потом охи и вздохи, всхлипы и плач.

– В прошлую войну муж не вернулся, погиб, теперь очередь моих бедных сыновей подошла, – ревела Куколева Таисья.

– Много не вернулось мужиков с прошлой войны, а теперь опять немцы напали. Чтобы они сдохли, поганые! У меня тоже парни подрастают, – говорила Евдокия Варзугина.

– Мой сынок Ваня в этом году закончил военное училище. Пишет, что наша армия хорошо вооружена, много танков и самолетов. Не допустят немцев, перебьют всех на границе, – успокаивает женщин Евдокия Викторовна – мать моего друга Ивана Куколева.

– С полок целые горшки не падают, все равно разобьются, – всхлипывая, молвит Евтюкова Ольга.

Я стою в сторонке. Рядом Антон Степанович, Петр Ильич – председатель колхоза, Иван Александрович, Иван Леонтьевич.

– Да что вы, бабы, разревелись. Разобьет наша армия немцев, не допустит до границ. Ведь и в песне поется:

И на вражьей земле мы врага разобьем,
Малой кровью, могучим ударом.

– Хорошо бы так, да ведь немец-то он чувствует силу. Сколько мужиков наших с первой войны не вернулось, всех побил. Ох, чую я, добра не будет! – не унимается Таисья Кузьминична Куколева.

– Бросьте, бабы, шуметь, победит наша армия Гитлера, ведь с нами Сталин, – уверенно сказал Антон Степанович, председатель сельсовета.

Петр Ильич – председатель колхоза – и Иван Александрович поддерживают его:

– Да что нашей Красной армии Гитлер, есть у нас опыт боев на Халхин-Голе и с финнами, верьте, победим. Надо нам работать получше, своим трудом крепить мощь Родины!

Вскоре Антон Степанович сообщил мне, что должность из-бача сокращается, а при отделении связи организуется группа связистов по обслуживанию линии связи. Из Онеги приехал руководитель этой группы Виктор Постников, он меня оформил на работу в онежскую контору связи.

Немцы яро наступали, по телефону сообщали о сдаче городов. Тревога росла, стали получать письма из Мурманска: многих забирали в армию, бомбили Мурманск, немцы перерезали железную дорогу Мурманск-Ленинград. Появились переселенцы в Унежме, хлеб в магазине стали выдавать по норме. Жить стало трудней, хлеба не хватало, круп и макарон совсем не выдавали. Выручала мать, она ходила к деинке Ирке помогать носить воду на пекарню, переносить хлеб в магазин, за эти услуги деинка ей давала немного хлеба. Нашелся и другой добрый человек – Антон Степанович, он стал привлекать меня к ревизиям в магазине. За это тоже давался кусок хлеба, а иногда и целая буханка.

Вскоре в Унежму приехал техник связи и привез оборудования для установки усилительной подстанции для обеспечения регулярной правительственной связи по имеющейся бронзе. Он установил стойку в одной из комнат сельсовета и мотор для зарядки аккумуляторов в бане около Великой вараки. Обслуживание мотора и зарядка были поручены мне. Когда меня не стало в Унежме, был прислан техник Бавыкина Шура, она обслуживала правительственную связь и жила в нашем доме, в моей комнате.

Весной 1942 года в Унежму прибыла группа военных связистов – целый взвод. Они взяли под охрану линии связи на Кушереку и Нюхчу. Жили в доме Екатерины Куколевой (Рабадихи), а чуть позже появились военные девушки-связистки. Для них на церкви был оборудован пост по наблюдению за воздухом. Такой же женский пост был организован на реке Челице. Унежма находилась в прифронтовой полосе. В небе постоянно слышался гул моторов самолетов. Проходили они обычно на большой высоте и далеко на восток, до Архангельска и дальше.

В один из зимних коротких дней вблизи деревни необычно громко загудел самолетный мотор. Такого не бывало, все насторожились, выбежали на улицу, а мальчишки на вараку. Летел самолет на малой высоте, в тумане его еле-еле было видно. Метрах в пятистах от деревни между Великой и Варничной вараками нырнул вниз и исчез среди нагромождения льда. Думали, что немцы залетели, а когда прибежали, увидели что это наш самолет и летчики наши. Машина была до неузнаваемости искорежена, летчики ранены. С трудом вытащили их из кабины. Двое вскоре умерли, а одного Михаил Ульянов увез в Нюхчу в госпиталь. Пилотов похоронили на унежемском кладбище, теперь там стоит памятный знак, сделанный Михаилом.

Война, вопреки прогнозам, затянулась. Стали приходиться похоронки, постоянно призывали резервистов, усилился голод. Спасала рыба, которую ловили зимой и летом, днем и ночью. На меня односельчане стали смотреть с подозрением и презрением или вообще не замечать. Я понимал, что надо идти на войну, там моё место, хотя в кармане был белый билет – знак непригодности к службе в армии. Искал случай уйти, и вскоре он представился. Он начальника отделения связи узнал, что в Онеге создается бригада ремонтников-связистов. Позвонил начальнику райотдела связи А.В. Куйкину, рассказал о своем желании. Вскоре он сообщил: моя просьба удовлетворена, и я уехал в Онегу. По приезде сразу же обратился к военкому, чтобы взяли в армию, но он сказал: «Работайте пока, а если нужны будете, пошлем повестку или вызовем по телефону».

Вскоре бригада связистов приступила к работе. Надо было отремонтировать линию связи от Онеги до Пертоминска. Начали от Онеги в сторону села Покровское. Работы было много: столбы перекошились, провода провисли, проржавели, соединение проводов проведено без пайки. Пришлось всё это исправлять, линия очень была нужна, она единственная по берегу Белого моря. В военное время использовалась как правительственная. Постепенно я научился пользоваться поясом и когтями, освоил пайку проводов непосредственно на столбах. Очень медленно дошли до Покровского. К осени дошли до Тамицы. Начались дожди, усилились холода и работу пришлось прекратить, хотя до Пертоминска оставалось еще далеко. Вся группа вернулась в Онегу.

В Онеге тоже нашлась работа. Надо было подтянуть провисшие провода линии связи через реку. Работа эта непростая. Река Онега в районе города широкая. На правом и на левом берегах столбы, да посередине реки столбик на каменном островке. Провода провисли так, что чуть не касаются воды. И мачты высокие. Не помню, какая высота мачт, но не малая. Стоим около мачты и задирем головы, так что кепка сваливается. Пять мужиков – монтеры-верхолазы – и бригадир прикидывают как быть, кому лезть. Высоко, страшно, техники безопасности никакой – пояс да когти, и то ненадежные. Все смотрят на меня – самого молодого, освоившего в этом году профессию связиста-верхолаза. «Трусы в карты не играют», – решил я. Надел пояс понадежней, когти получше, и пошел.

Чем выше, тем трудней взбираться, столб стал толще. Оказывается, мачта составлена из двух деревьев, скрепленных железными хомутами, а к хомутам прикреплено четыре кольца для растяжек. С трудом преодолеваю утолщение. Чем выше, тем страшней. Столб стал тоньше, когти соскальзывают, каждый шаг дается с трудом, да еще и качает. Кое-как добрался до перекладины, зацепился за нее цепью пояса, отдышался. Посмотрел вниз – голова кружится, человечки внизу как букашки, город как на ладони. Блоком подтягиваю провода, снизу помогают – тянут при помощи веревки. Когда с земли кричат «хорошо», вырезаю лишнее, накладываю концы один на другой, обматываю проволокой, чтобы не разошлись, и заливаю жидким кипящим свинцом. Это – пайка. Работа тяжелая и долгая, больше четырех часов провел на этой качающейся мачте. Закончив работу, спускаюсь вниз. Все довольны и рады, хлопают по плечу, говорят «Молодец!», а я еще долго успокоиться не могу...

Вечером все вместе ужинали. Бригадир объявил, что все поедут по своим деревням до весны, а потом опять соберемся в бригаду. Домой я не поехал. Утром следующего дня пошел в военкомат и написал заявление: «Хочу на фронт».